



БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

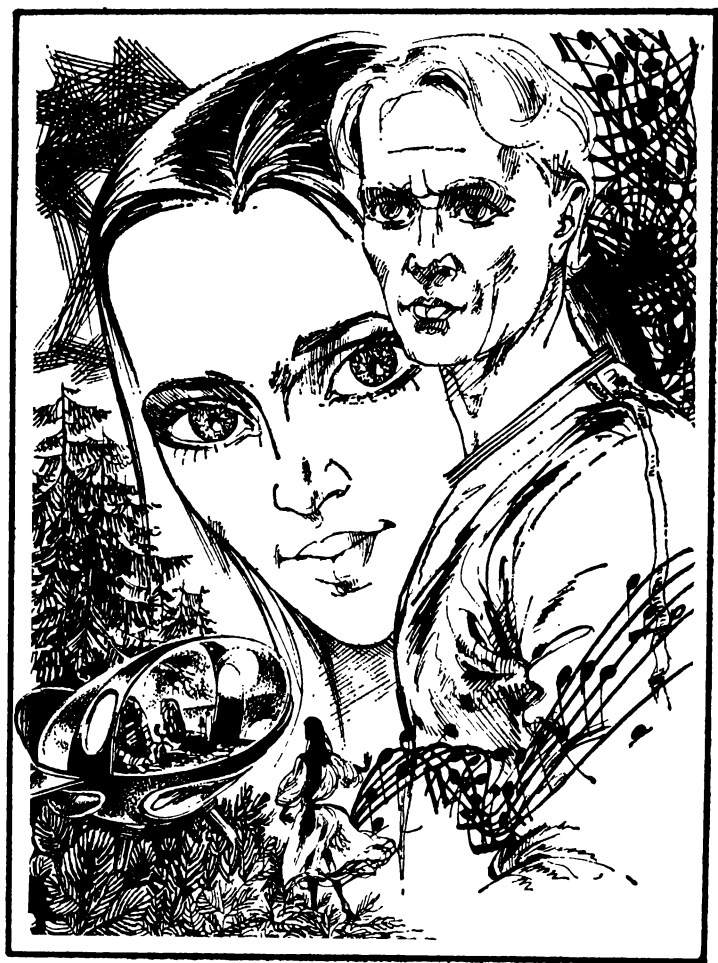
МИХАИЛ ГРЕШНОВ  
СНЫ  
НАД БАЙКАЛОМ



МИХАИЛ ГРЕШНОВ СНЫ НАД БАЙКАЛОМ



**БИБЛИОТЕКА  
СОВЕТСКОЙ  
ФАНТАСТИКИ**



БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

МИХАИЛ ГРЕШНОВ

# СНЫ НАД БАЙКАЛОМ

Научно-фантастические рассказы



---

МОСКВА  
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ “  
1983

84Р7  
Г81

Г  $\frac{4702010200-176}{078(02)-83}$  143—83

© Издательство «Молодая гвардия», 1983 г.

---

## СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ!

— Спелеологи — народ неразговорчивый. Это не случайно, поверьте мне. Под землей надо слушать. Очень чутко и внимательно слушать. И совсем немного разговаривать.

Руки Гарая двигаются неторопливо. Это я заметил: спелеологи неторопливы.

— Жаль, что нельзя видеть, — продолжает он. — Не говорю об инфравидении в тепловом поле — есть такие приборы, даже очки. Но через них видишь то же, что и в луче фонаря: сталактиты, скалы и ниши. Только все это хуже, чем с фонарем. Я имею в виду другое видение — шестое, может быть, десятое чувство.

— Есть такое? — спрашиваю Гарая.

Прежде чем ответить, спелеолог тщательно приглаживает выравненный свернутый шнур, откладывает моток в сторону:

— Есть.

О Гарая мне уже рассказали. Не только что он опытный спелеолог, надежный товарищ. Сказали, что он знает музыку Земли. Странно, не правда ли — музыку Земли? Уверяли, что он раздвигает скалы. Привели случай. Группа Козицкого — четверо надежных парней — пропала в уральских пещерах, исчезла. Пообещали вернуться через четыре дня. И канули. Прошло пять дней, шесть, от группы ни слуху, ни духу. На седьмой день по их следу вышли спасатели. Но след затерялся в мелких

озерах, ручьях. Привлекли к поиску исследователей из другого лагеря, в их числе Гарая. Спустился он в подземелье на восьмой день.

— Вот что, — сказал участникам своей тройки, — поднимитесь-ка вы наверх. Оставьте меня послушать.

— Одного?..

— Одного.

Наверно, это у Гарая звучало. Как небольшое «Есть», потрясшее меня, столько в нем было силы.

Ребята ушли. Получили взбучку от штаба — у спасателей всегда организуется штаб. Чуть ли не тотчас их повернули обратно. Переспать, однако, на поверхности разрешили, чтобы вышли утром с новыми силами.

А наутро Гарай привел четверку Козицкого.

— Как ты их нашел?..

— Не их прежде всего, — ответил Гарай, — ход нашел в скалах.

Козицкий клялся, что никакого хода не было. Они же не дети, у них четыре пары глаз!

Так и пошло: Гарай раздвигает скалы.

А насчет музыки — этот вопрос интересует меня. Он привел меня в лагерь спелеологов. И ведет с Гараем в пещеру.

Лагерь расположен в Бамбаках, на Малой Лабе. Над рекой это невысоко — в семистах метрах. Здесь еще лиственные леса: буковые, грушевые. Выше над ними ельник. А над головой синь.

Пещера тут же, выходит из скалы на поляну. В прошлом году ее осматривал Павел Никанорович Ветров. В этом году он привел с собой три звена спелеологов исследовать лабиринт. Пещера разветвляется под горами, тянется километров на двадцать. Имеет один или несколько выходов. Собаки, по словам старожилов, попавшие в подземелье, объявлялись по ту сто-



рону гор в леспромхозе. Переходы и выходы надо исследовать. Но не только это привело Ветрова вторично к пещере. На Бамбаках работают буровики. Скважины дадут бóльший эффект, если объединить работу буровиков с геологическими исследованиями через пещеры. Ветров добился связи с буровиками. Их инженер, Санкин Дмитрий Петрович, сейчас, перед исследованием подземелья, намечает с руководителем спелеологов план работы:

— Вопрос в том, на какую глубину уходят пещеры. Нам ведь нужна глубина, Павел Никанорович.

— Километра на два, — отвечает ему Ветров.

— Два километра, конечно, значимость. — Санкин делает пометку в блокноте.

— А вот образцы. — Ветров достает из угла палатки баул, открывает крышку.

Образцы он собрал, когда у него зародилась мысль об объединении работы буровиков со спелеологией. Места, где собраны образцы, Ветров нанес на карту. Карту показал буровикам. Это и привело к тому, что Санкин сидит у него в палатке.

Инженер заинтересован, берет из баула сколки породы — коричневый, красный.

— Железо, — говорит он, — хром...

— Да, — подтверждает Ветров, — вот сурьма...

Несколько минут Санкин перебирает содержимое чемодана.

— Павел Никанорович, — неожиданно говорит он, — скольких трудов стоило вам достать эти образцы?

За словами инженера скрывается другой смысл. Санкин никогда не был в пещерах. Услышав о двадцатикилометровой длине, он призадумался. Одно дело двадцать километров на поверхности, другое — во тьме подземелий. Это, говоря осторожно, может смутить любого. Ветров понимает, в чем дело, отвечает, стараясь не усилить тревогу Санкина:

— Требуется, конечно, навык. Физическая закалка. Ну и осторожность, понятно. — И чтобы окончательно рассеять тревогу Санкина, говорит: — Пойдемте в тройке со мной.

У меня тоже особых навыков не было. Прогулки в Кунгурской пещере на Урале, в Кристальной в Подолии почти не в счет. На Кавказ меня привело знакомство с Ветровым. В Одесской филармонии случайно мы оказались в двери при выходе из вестибюля одновременно. «Я вас узнал, — сказал Ветров, — играете на органе». — «Да, — ответил я, — а вы музыкант?» — «Спелеолог». В завязавшемся разговоре я признался, что бывал в уральских пещерах, в Подолии. «Имеете интерес? — спросил Ветров. Предложил мне поехать на Кавказ: — Познакомлю с интересным человеком. Он умеет слушать музыку Земли». — «Музыку Земли?..»

Так я оказался в палатке с Гараем.

Мне рассказали о его замкнутости, резкости суждений, о любви к одиночным походам. Глядя на его плечи в сажень, квадратное туловище, на туго сжатые губы, можно лишь утвердиться в его замкнутости, суровости. Слова о том, что спелеологи народ неразговорчивый и под землей надо больше слушать, чем говорить, тоже штрих, подчеркивающий характер Гарая. Он и здесь намеревался идти один. Как только не навязывал меня Ветров ему в напарники:

— Тренированный, молчаливый. Музыкант...

При этом Гарай перевел взгляд с моего лица на руки. А я испугался: руки у меня ничего не знают, кроме органичных клавишей.

— Бывал в двух пещерах, — продолжал Ветров.

Гарай все еще смотрел на мои руки. «Не возьмет, — уверился я. — А музыка Земли?..»

Но тут я сам решил постоять за себя:

— Ничего, Генрих Артемьевич, что руки такие, — сказал я. — Испытайте их в деле.

— Испытаю, — пообещал Гарай и этим дал согласие взять меня с собой в пару.

Что, собственно, мне надо в кавказском походе? Убить отпуск? Сделать экскурсию? «Много ездите, Гальский, — упрекнул меня дирижер оркестра. — Не растеряйте талант». А я не могу усидеть на месте. Меня интересуют Урал и Байкал, на БАМе я был с концертом. Люди меня интересуют. Тайны. Гарай. Может быть, это от молодости?

Может, от молодости не спится?..

Поднимаюсь, выхожу из палатки. Луны еще нет, она взойдет перед утром. Долина внизу темна, как омут. И еще она похожа на чашу, окаймленную выщербленным контуром гор. С уступа, на котором расположен бивак, реки не видно. Ее немного слышно, совсем чуть-чуть: тягучий спокойный шум. Взлаял шакал. Подхватил другой — то ли плач, то ли смех, неожиданно музыкальный. Звезды зеленые, синие. Близкие. Можно достать любую. Можно переставить местами. Но лучше глядеть на них. Наверно, это мне и нужно в походе. И еще музыка. Я готов видеть ее в мерцании неба. За хребтами на юге идет гроза. Но грома не слышно. Зарницы пробегают по горизонту, чуть приглушая звезды. Это похоже на переливчатое стаккато. Неново, конечно, связывать свет и музыку. Музыки и так много. Ухнула выпь. Отозвались шакалы. И, сменяя тональность, как звучание струн под ударами молоточков, мерцают звезды.

Утро началось суетой. Проверяется снаряжение, на костре готовится завтрак. В палатках и возле них:

— Надя, резервные батарейки!..

— Немного в подъеме жмет, но, думаю, обойдется...  
На земле, на кроватях шерстяные свитеры, шлемы.  
— Завтракаты!

Душистое, обжигаяще горячее какао.

— Наполнить термосы!

Молодое небо безоблачно. Солнце еще не вышло из-за горы, но уже тронуло скалы. В долине линияет серо-зеленый сумрак.

Короткое слово Ветрова, и группы — первая, вторая, третья — втягиваются в прохладный зев. Мы с Гараем в последней группе. Прощай, начавшийся день!

Идем во весь рост. Светят передние два фонарика — Павла Никаноровича и Санкина. «Экономьте энергию...» — неписаный закон спелеологов. Впереди в пляшущем подвижном свете семь медлительных силуэтов. Себя я не вижу. Я замыкающий. Но если взглянуть назад, на стенах пещеры, на потолке бурная пляска теней.

Не проходим двухсот шагов — поворот и пещерный зал. Санкин поднимает фонарь — луч теряется в темноте. Отряд жмется влево, к стене, справа пустота, и луч ничего не нащупывает.

— За мной, за мной! — слышится голос Ветрова.

На мгновение появляется над головой желтое пятно — потолок — и тут же исчезает, будто неведомая рука оттягивает его ввысь. Опять отряд жмется к стене.

Шаркают подошвы по камню, никто не разговаривает — нет желания разговаривать.

Через минуту впереди возникает стена, перечеркнутая черным зигзагом, — проход. Гуськом втягиваемся в проход, и тут же первое ответвление вправо.

— Незванный, — освещает фонариком Ветров, — ваш туннель.

Незванный, за ним Игорь Пичета и Шура Гвоздев отворачивают вправо.

— Счастливо! — слышится несколько голосов.

И я говорю:

— Счастливо!

Группа исчезает за поворотом, остальные идут вперед.

Через полчаса и так же вправо уходят Ветров, Санкин и Надя Громова. Опять мы с Гараем напутствуем их: «Счастливо!» — и остаемся одни.

— Так... — говорит Генрих Артемьевич и включает фонарь.

Мне кажется, его «так...» звучит с облегчением.

Он прибавляет шаг. В самом деле, его стесняло плестись в хвосте. А может быть, и оттого, что пещера пошла под уклон. И не только вниз — начался каскадный участок.

Первый уступ небольшой, можно лечь на живот и опустить ноги. Можно попросту спрыгнуть. Но так не делается: какой еще там, внизу, грунт? Рискуешь остаться без ног. А то и без головы. Ложусь на живот, ногами нащупываю опору. Генрих Артемьевич, видимо, одобряет маневр. Сопя, ложится на живот, опускается рядом со мной.

Так мы преодолеваем третий, пятый уступы. Иногда подаем руки друг другу: веревками не пользуемся.

Под ногами появляется вода, сочится из-под камня.

— Осторожнее! — предупреждает Гарай.

— Генрих Артемьевич, — говорю я, — образцы начнем брать?

Гарай молчит. А я конфужусь: образцы можно взять на обратном пути. Да и в конце концов он старший. Или мне хочется поговорить? Так спелеологи — народ неразговорчивый...

Старательным молчанием пытаюсь загладить свой промах. В самом деле Гарай добрее. Придерживает меня на скользких участках, не отпускает руки, пока не убедится, что стою крепко.

Проходит, наверно, час. Спустились мы глубоко, но ход по-прежнему идет вниз.

— Сядем, — неожиданно говорит Гарай.

Садимся, гасим фонарь. Темнота мгновенно ложится на плечи грузом.

Когда выравнивается дыхание, расслабляются мышцы, Гарай спрашивает:

— Слышите что-нибудь?

Шум в ушах. Даже звон, об этом я и говорю спутнику.

Еще проходит время, и Гарай спрашивает опять:

— Слышите?..

Тот же шум и звон в голове — сказывается давление, мы глубоко под землей.

— А теперь? — Генрих Артемьевич, слегка охватив плечо, приближает меня ухом к стене.

— То же самое... — говорю я.

Гарай негромко смеется.

Поднимаемся и идем. Ход расширяется, суживается. Вода под ногами то хлюпает, то исчезает.

Внезапно Гарай останавливается:

— Свет!

Ход аркой замыкается сверху. Клином с потолка нависает камень. Гарай смотрит на него, понижает голос до шепота:

— Визжит. Может упасть...

Ничего не понимаю ни в словах, ни в тревоге, которой охвачен Гарай.

— Дайте! — тянется он за штоком — палкой с металлическим наконечником. Шток есть и у него, но у меня тяжелее. Отдаю.

Гарай отводит его над плечом как копье, с силой швыряет в камень. Камень рушится, пол под ногами вздрагивает. Инстинктивно делаю шаг назад.

— Не бойтесь, — говорит Гарай. — Опасности больше нет. Привал.

Вынимаем из рюкзаков хлеб, мясо. Раскладываем тут же, возле упавшего камня.

— Почему вы сказали — визжит?..

Генрих Артемьевич молча ест. Запивает из термоса. Наконец говорит:

— Надо уметь слушать.

Слова звучат мягко, с укором, и это ставит меня в тупик: такого тона я от Гарая не слышал.

— Уметь, — повторяет он. — В этом секрет.

А я гляжу на обрушенный камень, и у меня куча вопросов.

Обед окончен. Кружки и термосы уложены в рюкзаки. Погашены фонари. Я остаюсь во тьме со своими вопросами. Но мягкость последних слов Гарая меня обнадеживает.

— Говорите, звенит в ушах... — Гарай опять засмеялся. — Усталость, давление атмосферы, — продолжает он в темноте, — все это обычные объяснения, которые слышишь от каждого. Даже на гипертонию ссылаются...

Я молча слушаю.

— А дело в другом. Если хотите, здесь целая наука... — Гарай ждет, что я отвечу. Я ничего не отвечаю. — Наука о Земле, — заканчивает он свою мысль.

— Вслушайтесь, — говорит через минуту, оборотившись ко мне; голос звучит негромко, но близко. — Подойдите к скале, к другой. — Включает фонарь. — Послушайте.

Встаю, подхожу к скале, прислоняюсь ухом. Звон усталости звучит в голове. Подхожу к другой скале.

— Вслушайтесь, — настаивает Гарай.

Тоже звон, но, кажется, другой тональности. Заинтересованный, иду дальше. Через два-три шага прикладываю ухо к стене. И каждый раз мне кажется, что кровь в ушах звенит по-другому.

— Вы музыкант, — говорит Гарай.

Еще иду, прислоняюсь к камню одним ухом, другим.

Звон в голове или звук на каждом месте, мне кажется, чуть-чуть другой.

— Есть разница? — спрашивает Гарай.

Есть, но ведь это можно объяснить током крови в мозгу, состоянием организма.

— Знаю, что вы думаете, — говорит Гарай, разгадав мои мысли. — Все так думают. И все ошибаются. Подождите ко мне.

Роемся в рюкзаке, достает телефонную трубку. Но это не совсем телефонная трубка. На одном ее конце мембрана, которую мы прикладываем к уху, другой конец сделан раструбом. Раструб направлен в сторону, противоположную от мембраны, — это отличает трубку от телефонной. Провода нет, середина трубки полая, туда вставлена батарейка.

— Возьмите.

Беру трубку из рук Гарая. Прижимаю мембрану к уху. Слышится звучание, аккорд, охвативший несколько нот: так звучат на ветру провода, когда их слушаешь, прижавшись ухом к столбу.

Жестом Гарай направляет меня к стене. Звучание изменяется, преобладает низкая басовитая нота.

— Пройдите туда. — Гарай кивает на выступ метрах в шести.

Подхожу к выступу. Звучание в трубке другое: выплыло и словно застыло фа контроктавы.

— Дальше! — показывает Гарай.

Подхожу к расселине, вспоровшей стену от пола до потолка. Здесь звучит ми первой октавы. Не только ми — аккорд из нескольких тонов; он звучит и дальше от расселины, в пяти шагах, но сильнее всего слышится ми.

Шарахаюсь от одной стены пещеры к другой и слушаю. У меня уже в мыслях нет, что это кровь пульсирует и звенит в ушах. Скалы поют, Земля! Трубка Гарая — волшебство!..

Кажется, это вывело меня из себя — в голове путаются обрывки мыслей. Нужно усилие, чтобы собраться и все обдумать. Опускаю трубку — в чем дело? Старуюсь сосредоточиться.



Нельзя отрицать шума в ушах от пульсации крови. Нельзя отрицать и шума Земли. «Вслушайтесь», — несколько раз говорил Гарай. И немудрено, что в подземелье, куда не пробивается с поверхности ни один звук, можно услышать музыку скал. Да, я ее слышу! Трубка все еще у меня в руках. Тональность звучания меняется. Но я все приписывал шуму в ушах. Инерция! «Вслушайтесь!..» Так, наверно, вслушиваются сотни спелеологов в пещерах мира. И только Гарай расслышал и нашел истинные причины. Как он нашел? Может быть, у него феноменальный слух? Или он по-необычному мыслит? Наверно, то и другое. Но главное — открытие. Гарай умеет им пользоваться. Камень «визжит» — и, может быть, спасены жизни Генриха Артемьевича и моя.

Из глубины пещеры смотрю на Гарая. Он отбивает молотком куски породы. Молоток у него необычный: с одной стороны боек, с другой жало — острие кирки.

Возвращаюсь к нему вернуть трубку.

— Послушайте, — протягивает он кусок рыжего камня с синими и розовыми прожилками.

Подношу камень к трубке. Шмелиный рой бьется и гудит в ухе, перекрывается пронзительным комариным писком. Тут же тянется непрерывным звоном ля третьей октавы, перемешиваются другие тона, едва различимые и явственно слышимые.

— Полиметаллическая руда, — говорит Гарай. — Железо, кобальт... Каждый металл поет по-своему.

Хочу послушать еще, но он протягивает другой кусок:

— Медь...

В трубке преобладает фа третьей октавы.

— Почему? — спрашиваю.

— Сядем, — говорит Генрих Артемьевич.

Протягиваю ему трубку.

— Пока оставьте, — отводит он мою руку.

Секунду медлит, я жду объяснений.

— Звучание металла в породе? — говорит он. —

Это неново: то же, что в биологии звучание мышц при напряжении. Слышали об этом?

Не слышал, но я молчу.

Гарай продолжает:

— Принцип надо было обнаружить в горной породе и объяснить. Если бы это сделал не я, обязательно сделал бы кто-то другой. Поначалу я думал так же, как все: шум в ушах от циркуляции крови. Однако изменение тональности в разных местах, в разных пещерах навело меня на мысль, что звучание идет не только от шума крови и утомления мышц. Кстати, вы не ответили, слышите вы звучание мышц или нет. Поставьте опыт, — он взял из моих рук трубку, — зажмите пальцами уши. Поглубже. — Зажимаю так, как он советует, слышу гул в голове. — Упритесь локтем хотя бы в эту стену, — советует Гарай. Упираюсь в скалу, гул в голове усиливается. — Ну вот, — говорит Гарай, довольный моей исполнительностью, — это гудят от напряжения мышцы... Я слышу больше, — продолжает он. — Гамму звуков в пещерах. И сейчас слышу. Почему в толще пород рождается звук? Потому что в любом, даже маленьком, камне есть натяжения, напряжения. Что уж говорить о недрах, где давление колоссально? Позже, когда у меня появилась трубка, я различил, что каждый металл имеет свой голос так же, как при спектральном анализе свой цвет. Поэтому долго распространяться не буду: в каждом куске породы по звуку можно определить металл, а по интенсивности звука его количество.

Генрих Артемьевич возвращает мне трубку, увязывает свой рюкзак.

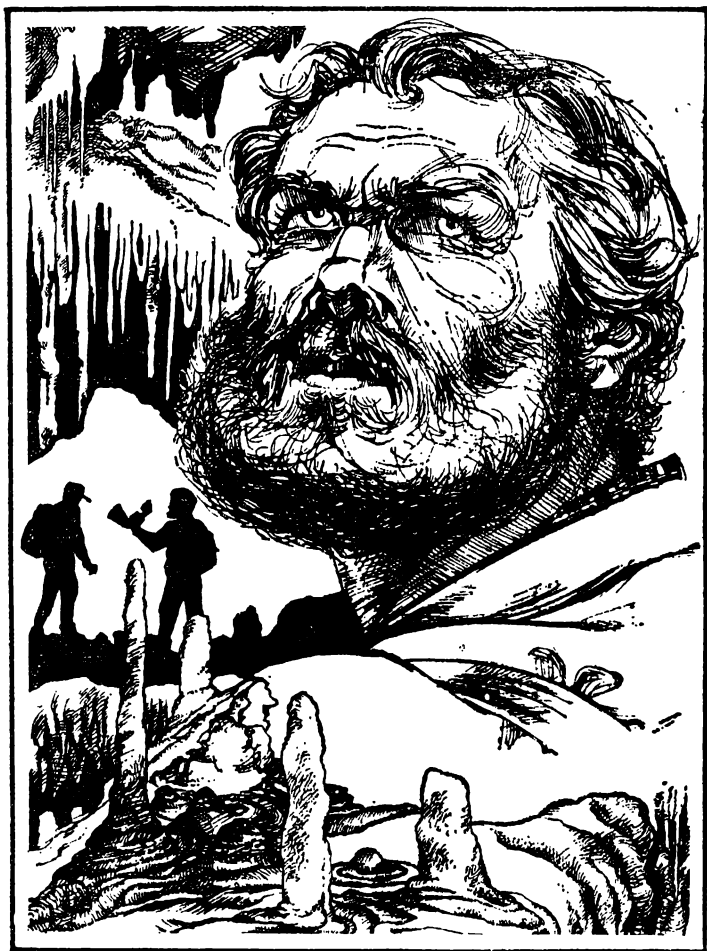
— Но ведь вы сделали открытие, Генрих Артемьевич!

— Сделал, — отвечает Гарай. — Трубку сделал. «Сигнал» — так я назвал трубку.

— И об этом никто не знает!..

— Вы знаете.

— А дальше?



— Нужна работа. Нужно очень много работы!

Гарай замолчал. Поднял и надел рюкзак. Я тоже надел и с трубкой в руках пошел за ним.

«Сигнал»... Изредка я прикладывал мембрану к уху. В трубке звенело, гудело, урчало, пело. Вспомнилось фа третьей октавы в куске медной руды. Звуки надо записать, классифицировать, рассуждал я, сделать таблицы. Работы много. Почему Генрих Артемьевич ее не делает? Бродит в пещерах, скалывает куски породы...

Вглядываюсь в квадратную фигуру Гарая, идущего впереди, — желтая полоса света нащупывает дорогу. Мой фонарь Гарай приказал погасить: «Хватит и одного...» Не сразу замечаю, что Генрих Артемьевич замедлил шаги, почти крадется. Остановился и слушает. Я тоже слушаю, но ничего не слышу, тот же фон в голове. Гарай подает знак остановиться. Стягиваю рюкзак...

— Не надо, — говорит он шепотом. Резко взмахивает рукой: «Замри!»

Замираю на месте.

Гарай приближается вплотную к стене, освещает ее. Прижимается ухом.

Может, и мне послушать? За манипуляциями Генриха Артемьевича я совсем упустил из виду трубку. Когда Гарай делает еще знак стоять смирно, я прикладываю мембрану к уху. Пронзительный свист, визг врываются в голову — невыносимо слушать! Слегка отстраняю трубку и тогда узнаю в звуках до пятой октавы. Дальше уже идет ультразвук! Что это значит — катастрофа, опасность?..

В самом деле, Гарай оборачивается ко мне, приказывает отойти: «Дальше!» Пятясь, сдаю назад, не отрывая глаз от Генриха Артемьевича.

— Свет! — говорит он по-прежнему шепотом.

Включаю фонарь.

Гарай снимает с пояса молоток. Что он задумал? Может быть, снять и мне? Отбивать пробы? Но Гарай

не дает сигнала. Он все еще занят своим молотком. Слежу за каждым его движением, на меня он не обращает внимания. Ощупывает стену. Примеривается молотком. Поспешно прижимаю мембрану к уху.

Теряю секунду, и, когда поднимаю глаза, Гарай, сбросив рюкзак, что есть силы замахивается на стену молотком.

— Ну! — вонзает молоток в скалу острым жалом.

Лопнула струна? Или тысяча струн разом? Или это вздох вырвался из скалы? Мембрана треснула в трубке, как выстрел... Пыхнула пыль в лицо, луч фонаря потускнел в ней, рассеялся. А когда пыль осела, из скалы, вернее, из черного хода, который возник в стене, смотрели на нас три фонаря.

— Генрих?.. — раздался голос Ветрова.

Гарай стоял, пригнувшись, вытянув голову. Слышал ли он восклицание Ветрова? Скорее нет — он слушал.

Затем он махнул рукой, приглашая Ветрова и других:

— Живее!

Люди двинулись к нам, а Гарай даже не переменял позы — прислушивался.

Проходя мимо, Ветров спросил у него вполголоса:

— Знал, что мы рядом?..

— Нет, — тоже вполголоса ответил Гарай.

Затем он выпрямился, круто обернулся ко всем — Ветров, Надя Громова, Санкин были в нашей пещере — и, сделав шаг от пролома, крикнул:

— Бежим!

Надя пыталась поправить сползший рюкзак, Гарай подхватил ее за плечи:

— Быстрее!

Ветров, Санкин, не пришедший в себя, пятились в темноту. Гарай подталкивал Надю: «Ну!..»

К счастью, в суматохе я не забыл о трубке. Рывком прижал ее к уху. Вой, хохот, скрежет ворвались под

черепную крышку, удары молотом, треск — бедлам выл и бесновался вокруг.

— Бежим! — Гарай увлекал всех вдоль прохода.

Не пробежали мы двадцати метров, как сзади охнуло, рухнуло. Пол под ногами качнулся, по стенам побежали трещины.

Я опять прижал трубку к уху. Паровоз, сто паровозов выпускали пары. Свист, шипение шли по скалам, или, может быть, Земля, освистывала наше бегство, шикала вслед.

Потом мы шли: Ветров, геолог Санкин, Надя, я и замыкающим Генрих Артемьевич. Ветров молча освещал фонарем дорогу, Санкин нервно покашливал, Надя, если судить по неровной походке, недоумевающая, испуганная.

У меня вертелось в мозгу: «Сезам, откройся! Сезам, откройся!» И так до развилки, где свернул вправо отряд Незванова.

Здесь только Санкин в полный голос спросил:

— Что же произошло, товарищи?..

Ветров промолчал, Надя ничего не сказала. Я мысленно повторил: «Сезам, откройся!» За всех ответил Генрих Артемьевич:

— Обыкновенный обвал...

— Боже мой, — сказал Санкин, — как мы остались живы?

Я, наверно, мог бы рассказать все, что видел. Но я промолчал.

Уже на выходе, когда блеснул дневной свет, Ветров отстал, подошел к Гарая:

— Уральский вариант, Генрих? — спросил он.

Гарай молча пожал плечами.

В лагере нас не ждали. Мы должны были вернуться к вечеру. Над горами светило солнце. Ветер качал

верхушки елей. Шумела река. Я уже заметил, что в полдень река шумит сильнее...

До вечера шла нейтральная полоса. Гарай не обращался ко мне, не заговаривал. Перебирал и укладывал снаряжение, оттачивал жало своего молотка. Я не решался заговорить с ним. Слонялся по лагерю, потом ушел в лес. Лег под елью в тени, думая о нападении на Генриха Артемьевича. Для этого надо было собрать не только мысли, но и характер. Гарай может поставить на моем пути стену молчания — так он ответил Ветрову на его вопрос об уральском варианте. Со мной ему ничего не стоило поступить так же — кто я ему? Но все равно я готовился: вытаскивал вопрос за вопросом, оттачивал их, закруглял и складывал горкой как пушечные ядра. К вечеру мой арсенал был готов. С характером хуже: вообще-то я не отличался особой решительностью, а тут откуда ее набраться?

Но все-таки из лесу я вышел решительный и готовый к штурму. Меня даже не обескуражило, что я пропустил ужин. Шут с ним, с ужином, разве в таком состоянии до ужина?

В палатке горел фонарь. Гарай застилал кровать, готовился ко сну. Не реагировал на мое отсутствие с полудня и на позднее возвращение.

Пока я закрывал дверь палатки и собирал, кстати, последние крохи решимости, Гарай поправил подушку, присел на кровать в невозмутимом намерении расстегнуть кеды.

Я тоже присел на кровать — на свою и сказал:

— Вы же знаете, Генрих Артемьевич, что меня колотит всего.

— Знаю, — ответил Гарай.

Немного подумал и, глядя мне в глаза, сказал:

— Вы мне нравитесь, Гальский.

Я ничего не придумал, как спросить:

— Почему?..

— Вы такой же молчальник, как я, — ответил Гарай.

— Но...

— На ваши «но» я могу ответить одно: хотите, будем работать вместе?

Я не понял: может быть, разобрать рюкзак, и ответил:

— Генрих Артемьевич!..

— Хорошо, — сказал он, — сначала отвечу на ваши вопросы.

Сейчас это было для меня самое важное.

— Вы видели все, — начал Гарай, — немало узнали за сегодняшний день, и пояснять мне осталось совсем немного.

Он сделал паузу, потом заговорил негромко — замечу, что он никогда не повышал тона:

— Случай в пещере не представляет собой ничего особенного. Через «Сигнал» вы слышали, как повышалось звучание в скалах, вы поднимали трубку несколько раз. То же самое слышал я без трубки: у меня натренированный слух. Но когда я приложил ухо к стене, я понял, что в пещере неминуем обвал. Он уже начался — скалы дрожали от напряжения. Но тут я услышал голоса. Группа Ветрова находилась рядом, за перемышкой. Напряжение шло оттуда, и точка разрыва концентрировалась в перемышке, между нами и Ветровым. Здесь стоял такой же визг, как в камне, который мы с вами обрушили. А я по опыту знал: достаточно сильного и точного удара — скала расступится.

— Сезам, откройся?..

— Как хотите, так называйте, Яков Андреевич.

Впервые Гарай назвал меня по имени, отчеству.

— Вопрос в другом, — продолжал он. — Во всей этой какофонии надо проследить систему и «навести» порядок. Здесь нужен музыкальный слух, образование — профиль, если хотите. Слуха у меня нет. Даже «Катюшу» я, наверное, не спою правильно. Образова-



ния тоже нет. А работа предстоит тонкая — научная. Вы музыкант, специалист, беритесь за это дело.

Я был ошеломлен. Вот что предлагает мне Генрих Артемьевич! Не содержание рюкзака — нет! Гарай предлагает работать с ним, и объем работы не какой-нибудь камень, не груда породы, принесенная из пещеры, — Земля!

— Перспективы заманчивы, — продолжал между тем Генрих Артемьевич. — Предстоит создать новую науку на стыке геологии с музыкой. Может быть, науку назовут геомусикой, может, придумают слово из латыни или древнего греческого, ни того, ни другого языка я не знаю. Главное, что такая наука напрашивается. Помните, как поет полиметаллическая руда? Поют не только металлы — песчаник, гранит, базальт. Все это надо систематизировать, утвердить перед научным миром. Один я это сделать не в состоянии. Вместе мы сделаем.

Перспективы действительно ошеломляющие — я окончательно понял, чего от меня хочет квадратный неразговорчивый человек. Но для этого... Подождите, Генрих Артемьевич, у меня голова идет кругом! Для этого надо отказаться от филармонии, сменить подмостки с прожекторами, глядящими на тебя, с аплодисментами, бьющими в уши, на мрак и бродяжничество в пещерах. Сменить квартиру в центре Одессы на бивачные кочующие палатки, обед в ресторане на черствый хлеб. Для этого, Генрих Артемьевич, надо иметь характер. Впрочем, характер вырабатывается в труде, в обстоятельствах жизни. «Гальский, вы много ездите...» С дирижером я никогда не ладил. А ездил много — на Урал, в Подолье, на Байкал. Меня тянуло к необычному. Может, в этом мое призвание? Нет, призвание — музыка. «Музыка Земли...» От кого я услышал эти слова? От Ветрова Павла Никаноровича. В двери, на выходе из филармонии. Вот и сравни: дверь и «Сезам, откройся!». Ветров? Недаром он познакомил меня с Гараем.

И вот сегодня настоящие чудеса. Я участник чудес. Захватывает? Дух захватывает!..

И все-таки филармония, сцена! Боже мой!.. Все у меня в жизни улеглось, устоялось. Как же можно ломать? Смотрю на Гарая, на его спокойное, уверенное лицо. Человек живет по другим законам, не клавиши у него под руками, не партитура. Даже «Катюшу» он не споеет правильно. Но ведь как сказано: «Может быть, науку назовут геомузыкой...» Генрих Артемьевич призывает меня эту науку создать. Что же меня удерживает? Обед в ресторане? Я глотаю слюну. Не потому, что вспомнил обед в ресторане, слюна у меня горькая, как полынь. И дыхание жесткое. И сердце колотится о ребра, вот-вот выскочит.

Гарай продолжает говорить о путях к новой науке. Я смотрю на него: не агитируйте, я решил, я согласен! Бог с ней, с филармонией, с прожекторами. И с дирижером — пусть размахивает руками...

А Гарай спрашивает:

— Согласны, Яков Андреевич?

Молча, памятуя о том, что спелеологи народ сметливый, подаю ему руку.

Так же молча, с видимым одобрением Генрих Артемьевич принимает руку.

А я отрываю от себя все прошлое.

## ЭКЗАМЕН ПО КОСМОГРАФИИ

Электронный педагог был корректен с ребятами и мягок, как родной дядюшка. Восемилетним малышам он говорил «вы», смотрел сквозь пальцы на шумок в экзаменационной комнате. Его интересовал только экзаменующийся, из всех голосов он улавливал лишь его голос и оценивал полноту и емкость ответа, сверяя знания ученика со сведениями, вложенными в блоки его механической памяти. Не то чтобы он любил детей, и

не то чтобы дети его любили, но он был объективен и вежлив. Этого было достаточно, чтобы между ним и экзаменуемым установился контакт. Непродолжительный, но вполне достаточный, чтобы выслушать ученика и высказать мнение о его знаниях.

Шел экзамен по космографии.

— Шахруddинов Элам! — вызвал экзаменатор.

— Я! — отозвался черноглазый, черноголовый мальчик.

— У вас четвертый билет...

— «Открытие Милены и первый контакт с инопланетной цивилизацией», — прочитал экзаменуемый.

— Вы готовы к ответу?

— Готов.

— Будьте добры... — Блестящий никелем и пластиком ящик был воплощением вежливости.

Элам садится в детское кресло, на секунду закрывает глаза, припоминая, с чего начать, и говорит, обращаясь к подмигивающим индикаторам:

— Открытие Милены. Рассказ очевидца.

— Не так громко, Элам. Я вас прекрасно слышу, — предупреждает электронный экзаменатор.

— Хорошо, — соглашается черноглазый мальчик. И начинает рассказ.

В атмосфере планеты кислорода было двадцать четыре процента, но капитан «Радуги» Сергей Петрович Попов не разрешал выходить без скафандров. Капитану подчинялись безропотно, на то он и капитан. Ругали Женьку Бурмистрова, микробиолога. По общему мнению, виновником нелепости был Женька: солнце, воздух, вода, а люди ходили в скафандрах, как на Луне.

— Ну друг... — выговаривали ему, даже тискали где-нибудь в коридоре.

Друг был невозмутим и если отвечал, то одним резким, как удар бича, словом:

— Вирус...

Планета состояла из суши, океана и атмосферы. Су-

ша была абсолютно голой — ни кустика, ни травинки. Океан, наоборот, набит водорослями, как Саргассово море. Водоросли поставляли кислород в атмосферу. В вышине плыли такие же, как на Земле, облака, и грозы были такими, как на Земле. А реки и озера другими: безжизненными. Водоросли в озерах и реках не приживались — вода в них была слишком пресной. Зато океан по засоленности превышал все, что людям было известно, — пластиковые детали выталкивал точно пробку. Но водоросли к нему приспособились. Больше в океане ничего не было: ни рыб, ни моллюсков. В целом планета была красивой: желтая суша, синезеленый океан, бирюзовые реки. По предложению Хосты Тройчева планету называли Миленой. Название всем понравилось.

А в воздухе Женька Бурмистров обнаружил вирус, вторую неделю исследует его, и вторую неделю мы не выходим из «Радуги» без скафандров. После четырех лет полета добраться до Земли с ветром, грозами, реками и не окунуть голой руки в воду — с ума можно сойти!

— Вирус... — предупреждает Женька.

— Что же ты с ним возишься? — тормошили его.

Женька возился не зря. Чем больше возился, тем больше росло его недоумение.

Наконец выложил нам все начистоту.

Каждую трехдневку у нас проводились совещания — что-то вроде планерок. На первых из них по прибытии на планету было много восторгов и восклицаний. Биологи докладывали о водорослях, геологи — о минеральных богатствах, синоптики — о грозах и воздушных течениях. Все укладывалось в обычные нормы: жизнь на планете существовала на основе углеродного цикла, таблица Менделеева была заполнена геологами вся; синоптики однажды предсказали град, и действительно град выпал!.. Как на Земле! Только Женька Бурмистров вылил на нас ушат холодной воды.

— Боюсь, — сказал он, — что загорать на солнышке нам не придется.

— Почему?..

— Видите ли...

— Ты не юли, — перебил его бортэлектроник Стоян. — Все знают, что за бортом кислорода двадцать четыре процента!

— Видите ли... — Бурмистров не моргнул глазом в сторону Стояна. — Этот проклятый вирус не даст нам вздохнуть.

— Женья!..

— Необыкновенный вирус, — продолжал Бурмистров, — ни на что не похожий.

У него была привычка — тянуть жилы не торопясь. Но тут он почувствовал, что перегнул.

— Во-первых, — отчеканил он, — вирус в биологической основе имеет не углерод, а железо...

Мы отшатнулись от Бурмистрова. Кремниевый цикл, даже фторный, были бы неожиданными, но все же понятными. Но то, что в основе жизни было железо, не укладывалось в голову. Феррожизнь?!

— Во-вторых, — продолжал Бурмистров, — антибиотики и другие лекарства на вирус не действуют.

Новость не лучше первой.

— В-третьих, — Бурмистров смущенно огляделся по сторонам, — мне кажется, что это инопланетная жизнь. Она совершенно чужда Милене.

Сообщение Бурмистрова вызвало впечатление молнии, блеснувшей под потолком: молчал, молчал, ну и выкатил! Некоторое время мы не находили слов.

Наконец биолог Частный спросил:

— Ты не ошибся, Женья?

— Вот расчеты и формулы. — Бурмистров протянул биологу бланк.

Тот посмотрел цифры и формулы. Стоян заглядывал в бланк через его плечо.

— Поразительно!.. — сказал Частный.

— Откуда же здесь феррожизнь, — спросил Стоян, — если в океане водоросли?..

Частный пожал плечами:

— Похоже, Бурмистров прав: феррожизнь на планете является инородной.

— Занесена метеоритом из космоса?

— А вдруг не метеоритом?

— Тогда кем?..

Перед этим вопросом пасовали все.

— Уклоняемся в сторону, — сказал капитан. — Если это неизвестная жизнь, надо узнать о ней как можно больше. Бурмистров, что еще скажете?

— Очень мало. Обыкновенные вирусы размножаются на живом субстрате. Этот вирус живет в атмосфере. В океане и в водорослях его нет. С местной органической жизнью он вообще не взаимодействует. И земная антисептика против него бессильна.

— Это хуже, — сказал капитан.

Как ни прекрасна Милена, ее воздух, вода, похоже, что нам придется прозябать в скафандрах.

— А может, вирус не опасен для человека? — спросил добродушный механик Берг. — Мало ли совершенно безвредных вирусов?

— В самом деле, — поддержал Берга геолог Трушин. — Жизнь в океане сродни земной, а вирус на нее не действует, может, он нам не опасен?

Это было соблазнительно. Очень соблазнительно. Экипаж с одобрением глядел на геолога.

— В человеческом организме находится и железо, — продолжал Трушин.

Один Женька, будто назло, не поддавался общему настроению.

— Может, вирус и безвреден для нас, — сказал он даже, показалось нам, с безразличием. — Но я за абсолютную осторожность.

Опять ушат холодной воды.

— Все-таки, Бурмистров, — сказал капитан, — неужели на вирус нельзя воздействовать?

— Кажется, — ответил Евгений, — вирус с ферроосновой можно ослабить, изменив магнитное поле. Но при всем желании мы не можем изменить магнитное поле планеты.

Убийственный довод! Но, как бывает, он ожесточил всех, заставил искать обходные пути. Очень хотелось людям настоящего ветра, грозы. Хорошей была планета. На Земле становилось тесно, Марс и Венера для заселения не годились. А здесь... Насадить леса, выстроить города — будет второй наш дом.

— Поставить ряд опытов, — предложил Частный. — Привить вирус водорослям в лаборатории. Испытать его на земных организмах...

— На ком? — спросил в упор Коста Тройчев. — На нас самих?

Частный замялся. Белые мыши и кролики, взятые экспедицией, погибли. Из земных организмов на «Радуге» были только мы, люди. Да еще любимица экипажа ангорская кошка Муфта. Муфта тотчас встала в ображении каждого — зеленоглазая, ласковая. Испытать вирус на Муфте?..

— Возражаю, — сказал механик Берг. — Никаких прививок на Муфте!

— Однако... — Частный протестующе отмахнулся. — С каким результатом мы вернемся на Землю? Или, может, смотаемся за партией белых мышей — и назад?..

Правильно. Но Муфту всем было жалко. Не только потому, что мы к ней привыкли. Кошке, как и нам, надоело жить взаперти: часами она царапала выходной люк, просилась, чтобы ее выпустили на волю.

— Как решим с Муфтой? — спросил капитан.

Минута прошла в молчании, прежде чем кто-то сказал:

— Выпустим... без прививки.

Так и решили: Муфту из корабля выпустить. Вирус привить водорослям в лагуне и контрольным экземплярам в лаборатории. Если отрицательных результатов не будет, выходить без скафандров.

Нас было на «Радуге» четырнадцать человек. Четырнадцать разных судеб. Были среди нас люди молодые и старые, были веселые и серьезные. Это хорошо, что все разные. Дальние экспедиции комплектуются такими людьми. Каждый мог многое вспомнить и рассказать о себе. Капитан экспедиции Сергей Петрович Попов погибал в пылевом облаке у Проксимы Центавра, два года странствовал, захваченный потоками Леонид. Механик Берг практикантом был унесен взорвавшимся бумом, который нашли через шестнадцать месяцев, нашли случайно, уже отчаявшись. Врач Гринвуд до сих пор с содроганием вспоминает эпидемию, вспыхнувшую на «Океане» в середине рейса, когда не было и намека на какую-либо тревогу... Все это были мужественные люди, сильные, чем-то похожие и непохожие друг на друга.

Надо было видеть их, когда Муфту выпускали из корабля. Четырнадцать пар глаз следили за кошкой через иллюминаторы. Следили с надеждой, с испугом. В конце концов это большее, чем выпустить животное на свободу. Решалась судьба экспедиции: подарим мы Земле голубую планету или вернемся ни с чем. Такие случаи бывали: встречались планеты, полные солнца и света, но каждый атом их атмосферы был смертелен для космонавтов.

И вот четырнадцать человек с «Радуги» смотрят, как Муфта делает первые шаги. Когда-то, прежде чем завоевать небо себе, человеком были подняты на воздушном шаре баран, петух и утка. Наверное, об этом думали капитан и экипаж «Радуги», глядя, как кошка отрывает лапки, ступая на непривычный песок. Муфта прошла несколько шагов, тронула серый камешек.



И... тут же упала на бок. Четырнадцать космонавтов ахнули. Но ничего не произошло: кошка играла с камешком, точно с мышью.

Мгновенный испуг людей сменился вздохом облегчения, потом хохотом.

С Муфтой ничего не случилось. И когда ей привили вирус, с ней ничего не случилось. И с растениями в лагуне и в ваннах лаборатории ничего не случилось.

Тогда мы сняли скафандры.

Мы ходили на шайку отчаянных сорванцов. Озера звенели от нашего крика. Это были хорошие проточные озера цвета синих бериллов, и капитан дал нам три дня отдыха. Озера мы превратили в плавательную станцию, песчаные берега — в солярий. Озера были в километре от «Радуги», и мы пробили к ним тропку голыми пятками. Летали на океан, там тоже было неплохо. Но там не погрузишься по плечи без камня, не нырнешь в глубину, не устанешь и не утонешь. Хорошо, но как говорили в древности, не тот табак... Озера были чисты, прохладны — земные высокогорные зеркала. Мы плескались в них, орали от удовольствия. Играли в пятнашки и дышали, дышали железным вирусом.

Десять дней мы блаженствовали. За это время и работа на планете продвинулась. Облетели четыре материка Милены, побывали в батискафе на океанском дне. Взяли геологические, биологические, гидрологические пробы и образцы. Главное — жили раскованно под солнцем и облаками.

Беда нагрянула неожиданно.

Завтракали. Был редкий завтрак, когда вся команда, четырнадцать человек, была в сборе. Накануне из южной полярной зоны вернулись Сытин и Лазарев и теперь между мясным и сладким докладывали о виденном.

— Царство осени, постепенно переходящее в царство зимы, — рассказывал Сытин.

Речь шла о границе ледовой зоны.

— А потом сразу снега на суше, айсберги в море...

Рассказывал Сытин неинтересно, с паузами, будто выдавливал из себя слова. Поэтому, наверно, и слушали его рассеянно. Может, рассказчик устал в нелегкой в общем-то экспедиции, у слушателей, может быть, не было настроения — за бортом «Радуги» начинался серый дождливый день. Так и вел Сытин от слова к слову. Остальные уже начали прихлебывать кофе.

Вдруг астронавигатор Кольцов сказал:

— Друзья, мне сегодня приснился странный сон...

Все взгляды остановились на нем. Казалось, случайная фраза навигатора заинтересовала команду.

— Капитан, можно? — попросил разрешения Кольцов.

— Вы кончили? — спросил капитан Сытина.

— Да... — ответил тот, неопределенно махнув рукой.

— Говорите, — разрешил капитан Кольцову: похоже, и капитан был заинтересован, какой сон приснился навигатору.

— Мне снилось... — воодушевился Кольцов. — Необыкновенный сон, Сергей Петрович! Я все видел настолько ясно, как вижу стол и всех нас!.. — Кольцов повертел головой, наслаждаясь вниманием, которое оказывали ему капитан и команда «Радуги». — Я видел, — продолжал он, — что на планету опустился чужой звездолет — странное сочетание конусов и цилиндра. Опустился он плавно, будто на крыльях, хотя ни крыльев, ни стабилизаторов у него не было. Опустился на таких же песчаных дюнах. — Кольцов кивнул на стекла иллюминаторов, где под дождем мокли округлые, уходящие к горизонту холмы. — Могу спорить на что угодно, — продолжал он, — что это были холмы Милены и все последующее, что мне снилось, происходило здесь, на Милене. Из корабля вышли люди, исследователи. Они были без скафандров, и я мог хорошо рассмотреть их. Рост их немного ниже, чем наш, но голова

больше, массивнее. И глаза большие, выпуклые, похожие на стекла подводных очков. У них, как и у нас, руки и ноги. На руках по четыре пальца — это я заметил по тому, как они держали приборы: три пальца снизу и один сверху, в обхват. Назначение приборов, с которыми они вышли из корабля, я могу определить приблизительно, но это было примерно то же, что и у нас в руках, когда мы первый раз вышли из «Радуги». Один из пришельцев, долговязый, повыше других, не сделав и трех шагов, наклонился и взял пробу песка...

Кольцов не замечал, как слушатели один за другим отставили чашечки кофе и уставились ему в рот. Висела такая тишина, что слышно было, как снаружи хлещет дождь по стеклам иллюминаторов. Вряд ли Кольцов рассчитывал на такое внимание: люди перестали дышать.

— Раскрылись люки, — продолжал он, еще более воодушевленный, — по наклонным пандусам сползло несколько машин.

— Стой! — прервал Кольцова механик Берг. — Мне снился этот же самый сон!

— И мне, — сказал Тройчев.

— И мне!.. — оживился Сытин.

Кольцов замер на полуслове.

— И мне снился этот же самый сон, — сказал капитан Сергей Петрович.

— Одна машина была летательная, с прозрачной кабиной, — сказал Берг, — ее тут же запустили, и трое пришельцев улетели на ней. Отмечу: ближе к кораблю видимость лучше, вдали все было затянуто дымкой. Летательный аппарат исчез сразу — растворился в тумане. Так?.. — обратился Берг к Кольцову и к Сергею Петровичу.

— Совершенно верно! — согласился Кольцов. — Дальше...

— Дальше, — вступил в разговор Сытин, — двое исследователей отошли от корабля. Впечатление было

такое, что они шли по направлению ко мне... к нам, — поправился Сытин. — Можно было рассмотреть их лица, глаза.

— Бр-р! — не выдержал врач Гринвуд. — Не хотелось бы мне второй раз увидеть эти глаза!

За столом наступило молчание. Никто не думал о кофе, чашки стыли нетронутыми. Было ясно, что один и тот же сон приснился всему экипажу. Каждый чувствовал недоумение, даже страх, хотя робких на «Радуге» не было.

— Однако что все это значит? — растерянно спросил кто-то.

Этот вопрос задал бы каждый из четырнадцати членов команды.

На следующую ночь сон приснился экипажу «Радуги» снова. Этот же самый — со звездолетом, пришельцами и машинами. Может быть, чуточку явственнее. Теперь все увидели, что конусы звездолета синие, а цилиндр золотистого цвета. Кожа на руках и лицах пришельцев серая, глаза черные с синеватым металлическим блеском. Не было дымки на горизонте, о которой вчера говорил Берг, — даль была чистой, словно вымытая дождем. Некоторые из членов команды различали звуки голосов, шум машины, заметили, что пальцы на руках у пришельцев гибкие, точно щупальца, без костных суставов.

Это смахивало на массовую галлюцинацию, и, если прошлым утром людьми владело недоумение, сейчас на лицах можно прочесть тревогу: что за штучки и чем это может кончиться? Станные сновидения могли возникнуть как результат внушений на расстоянии. Если это от внушения, то кто внушает, зачем и откуда? Игра это, предупреждение или попытка контакта?

В следующие ночи сон повторялся — точно как кинофильм — от и до. С той разницей, что с каждой ночью становился более ярким, объемным, будто входил в нас и вообще был не сон, а явь, неизменными свидетелями



которой мы были все до единого. Теперь мы видели не только цвет корабля, машин и приборов в руках пришельцев, замечали вмятины на корпусе звездолета, ромбы фасеток в глазах исследователей. Глаза!.. Врач оказался прав: взгляд их проникал в душу, оставлял там страх и холод металла. Пришельцы были людьми, как мы, но они были другими: с серой, металлического отлива кожей, с жесткой щетиной на голове и треугольным отверстием вместо носа. Может быть, мы к ним привыкли бы, если бы контакт был настоящий, но когда они являлись во сне, проводили манипуляции с приборами, разговаривали друг с другом, не обращая на нас внимания, когда это повторялось из ночи в ночь, это действовало на людей потрясающе. Мы уже не сомневались, что все происходило здесь, на Милене, пришельцы побывали на планете раньше нас, исследовали ее и сумели оставить после себя запись о своем пребывании. Передавалась ли запись со спутника или с другой планеты, из пространства наконец, неизвестно. Спутник вокруг планеты наши приборы бы засекли, излучение тоже бы обнаружили, если бы это было на самом деле.

Проходили ночи и еще ночи, сон не оставлял нас. Больше, он не давал нам спать. Заполнял сознание, душу, переселялся в нас. Люди не могли отдыхать. Стоило закрыть глаза — опускался корабль, выходили пришельцы. Все начиналось сызнова. До последнего слова, движения пальцев на руках долговязого, когда он вынимал щуп из песка у себя под ногами. Это не назовешь сном, галлюцинацией — это кошмары, повторяющиеся с методичностью оборота колес, изматывавшие людей до изнеможения. Даже днем стоило присесть, задуматься, перед глазами опускался звездолет, открывались люки...

Отгадал ребус Бурмистров. Явился в кают-компанию в белом халате, с глазами, красными от бессонницы, — несколько дней он не выходил из лаборатории.

— Это вирус! — Женька держал в руках пробирку. — Все мы заражены железным кошмаром!

На дне пробирки ржавой муťou лежала окись железа.

— Мы перенасыщены вирусом, — доказывал Жеңька. — Вот результат анализа крови. Процент содержания железа в гемоглобине повысился. Опасности для жизни пока еще нет, вирус действует на психику, не на здоровье. Но будет лучше, если мы покинем Милену.

Это была катастрофа наших надежд. Стартовать? Бросить все и бежать?..

— Думайте что хотите, — продолжал Евгений. — Для вируса безразлично, будем ли мы бежать, признаемся ли в бессилии. Феррожизнь принесена на планету четырехпалыми. Странно, что мы не заметили их следов на планете. Но, может быть, они ничего не оставили после себя, кроме вируса.

С Бурмистровым можно было не соглашаться, но каждый задумался, не ответ ли это на мучивший всех вопрос. Надо было решать, что делать дальше.

Мы уже исследовали планету, имели о ней достаточно данных. Мы могли улететь. Однако при таких обстоятельствах?.. Четырехпалые побывали здесь раньше. Но вирус? Неужели они оставили его на планете сознательно? Для чего? Чтобы заставить нас признать их первыми? Заставить убратся отсюда прочь?..

Об этом заговорили в кают-компании.

— Зловредный вирус! — переживал Бурмистров. — Не следовало выходить без скафандров!

Евгений был хороший парень, с чувством ответственности. Считал, что не удержал нас от опрометчивого поступка. А мог бы удержать — настоять на своем, и никто бы без скафандра не вышел.

Но в сложившейся обстановке были другие стороны.

— Первый контакт с инопланетной цивилизацией, — говорил капитан. — Такую возможность нельзя упустить! Экспедиция приобретает особый смысл!

— Контакт, который сведет нас с ума, — возражал врач Гринвуд. — Надо немедленно стартовать!

Команда была на стороне Гринвуда. Капитан не соглашался:

— Нельзя допустить, чтобы контакт остался бесплодным.

— Он и так не бесплоден, Сергей Петрович, люди измотаны.

— Вижу. — Капитан оценивал обстановку не хуже Гринвуда. — Но прежде чем улететь, предлагаю сделать записи снов и рисунки. Воспроизвести речь пришельцев по памяти. С чем мы вернемся на Землю?

Капитан не был бы капитаном, если бы не поставил перед нами эти задачи.

— Чем скорее сделаем записи, тем скорей улетим, — подытожил он разговор.

Рисунки, описание действий пришельцев, даже речь зафиксировать не составило труда: это сидело у нас в печенках. И трудились мы все четырнадцать. Если один упускал какую-то черточку, она становилась на место в описании другого. Коллектив мог воссоздать — и воссоздал — встречу с пришельцами в полном объеме. Капитан на это рассчитывал. Не в его интересах было подвергать риску команду.

Бурмистров продолжал исследовать вирус. Его предположение, что на железистую основу вируса действует магнитное поле, оправдалось. С отдалением от Милены вирус ослабнет, сны прекратятся.

Пора было стартовать. Но тут опять начался спор.

— Должны ли мы оставить четырехпалым весть о себе?

— Я против! — горячился Гринвуд. — Во-первых, потому, что мы не можем оставить им равноценный подарок. Очень жалею, что не можем этого сделать!

— Герман Яковлевич... — пытался смягчить резкость врача капитан.

— Оставить после себя такую пакость, как вирус? — продолжал Гринвуд. — Как они могли до этого додуматься?..



— Может, не рассчитывали, что эта штука будет действовать так сильно.

— На что же они рассчитывали?

— Предупредить, что открыли планету первыми.

— Могли бы оставить обелиск, надпись!

— То, что они могли, решать не нам, Герман Яковлевич.

— А что вы предлагаете? — задал капитану вопрос Гринвуд.

Сергей Петрович был в затруднении. Нельзя упустить контакт с инопланетным разумом. А что мог обещать землянам этот контакт? Судя по вирусу, мало приятного.

Четырехпалые открыли планету, «застолбили» находку. Мы тоже хотели оставить на Милене знак — обелиск с координатами солнечной системы. Но у нас свой взгляд на вещи, у них свой. Может, для них действие вируса — легкий мираж, напоминание о первопроходцах. И конечно же, у них от вируса есть противоядие. Но мы, земляне, восприняли все по-своему, особенно доктор Гринвуд.

— Извините, — говорил он, — это вторая эпидемия в космосе, которую я переживаю. Никаких знаков о себе оставлять четырехпалым нельзя. Я боюсь за родную Землю!

Капитан понимал — нужна осмотрительность.

Ему, Сергею Петровичу Попову, разрешено вступать в контакт с чужой цивилизацией. Но нужен дополнительный запрос на Землю. Он, капитан, представит информацию о разумных, побывавших раньше нас на Милене, кстати, это уже не Милена: планета имеет свое название, несомненно, данное ей четырехпалыми. И если Земля решит установить с ними контакт, на планете будет построена исследовательская станция. Встреча рано или поздно состоится.

Команда ждала последнего слова Сергея Петровича. Капитан взвешивал свою долю ответственности. Еще ни-

кто не сталкивался с чужим разумом в космосе, и никто не знал, как он предстанет — другом или врагом. За спиной капитана «Радуги» все человечество.

Рисковать дольше было нельзя. Капитан отдал приказ готовиться к старту.

На прощание облетели Милену четыре раза. Планета была красивая.

Она и сейчас красива, даже лучше: на ней развели леса, уже насчитывается двадцать два города. Грини — четырехпалые — уступили ее землянам. Они оказались не такими плохими ребятами, как о них подумал экипаж «Радуги». Правда, в их организме больше железа, у них другой цвет кожи и другая кровь. И кислорода им нужно меньше, в кислородной атмосфере они быстрее старятся. Милена была для них неподходящей планетой. Они посетили ее за тысячу лет до прилета землян. За это время они открыли массу планет, более подходящих для них, чем Милена. А Милену отдали нам и даже сняли свое название — Хаттль. И вирус они уничтожили сразу. Ничего страшного в вирусе не было. Он действовал на психику. И то в определенных границах. По мнению грини, это идеальный способ знакомить с собой гостей из других миров. Запоминается на всю жизнь. С изменением магнитного поля все исчезает — исчезло, как только «Радуга» выскочила из магнитного поля Милены.

Грини охотно пошли на контакт с землянами. Ведь они люди. Такие, как мы. И как галакты с Арктура, кто теперь об этом не знает? И никто в космосе никого не боится. Потому что разум — высший критерий между цивилизациями. А высший критерий всегда положителен.

— Я кончил!

Черноглазый мальчик перевел дух. Провел рукой по лбу, стирая испарину усердия и увлеченности.

Ему очень хотелось получить высший балл.

После минутного молчания электронный педагог заговорил:

— Хорошо, Шахрудинов. Вы осветили вопрос достаточно. Хотя чуть-чуть торопились и кое-что передали в вольной интерпретации. Например: «Женька Бурмистров...» Его звали Евгений Павлович.

— У меня друг Женька Задоров, — пытается выправить дело Шахрудинов. — Он все время маячил у меня перед глазами. И космонавты с «Радуги» называли Бурмистрова, самого младшего на корабле, Женькой.

— То космонавты, — мягко поправляет ученика педагог — а то вы, Элам...

После секундного размышления Элам соглашается:

— Слушаю.

— И еще, — продолжал педагог, подмигивая зелеными индикаторами. — Следовало рассказ вести от третьего лица, а вы, Элам, вели от первого. Понимаю, этим вы ввели живость в повествование, а все-таки получилось, будто вы были непосредственным участником экспедиции. Справедливости ради надо признать, Элам, что вы на «Радуге» не были. И последнее: следовало бы добавить, что название планеты Милена Тройчев придумал в честь своей невесты Милены Бланки и что кошка Муфта очень сочувствовала космонавтам, когда они мучились от странных снов, навеванных вирусом. У нее никаких снов не было.

— Можно, я добавлю сейчас? — спрашивает Элам, видя, что из шестнадцати глазков на панели зажглось четырнадцать — окончательная оценка его ответа. Эламу очень хочется все шестнадцать.

— Нет, — говорит педагог, — сейчас добавить нельзя. Надо все делать своевременно. Идите и отдохните. Четырнадцать баллов — совсем неплохая оценка, Элам. Право же, очень хорошая.

## О ЧЕМ ГОВОРЯТ ТЮЛЬПАНЫ

*В. Н. Журавлевой*

В Саянах я любил подниматься в горы один. Лучше, когда это делаешь сам, никого не догоняешь, не ожидаешь, — мир кажется шире, мыслям просторнее. Я знал тропинку к самым гольцам. Сначала меня провели по ней местные ребяташки, потом я ходил один и даже спускался с гор ночью, запомнив между кустами и скалами прихотливую вязь дорожки. Хорошо оставаться на вершинах до звезд, видеть, как они вспыхивают над тобой внезапно и ярко. Еще хороши в Саянах цветы! Но дарить их мне некому. Маленький горный курорт населен хмурыми болезненными людьми, которые больше говорят о диете и процедурах. Я вовсе не упрекаю их, наоборот, полон сочувствия к ним и сам принадлежу к их числу... Но в горы я поднимаюсь один. У самых гольцов луга: царство трав и цветов. Иногда я срываю цветы. Не бездумно и не подряд. Ветка рододендрона — саган-далиня по-местному, пара жарков вполне удовлетворяют меня. Иногда я срываю альпийский мак — красный и желтый. Но это недолговечный цветок — он вянет и умирает на глазах. Мне его жалко.

Горы дают простор воображению. Мечталось о крыльях. Не о тех, на которые ставят винты и турбины. И не о птичьих, совершенных, но слабых. Мечталось о крыльях, которые унесли бы к другим мирам, красивым и добрым, — есть же такие миры!..

Я прощался с Саянами. Срок путевки закончился, в кармане у меня был билет на обратный рейс. Лечение мало помогло мне. Больше, наверно, помогли горный воздух и тишина. Предстояло возвращение в город, в лабораторию с колбами, реактивами, к неоконченной диссертации «О химических способах борьбы с сорняками». Все это ожидало меня не дальше как завтра. А пока хотелось побыть одному на любимой поляне. Вполне

естественное желание. Но оно было нарушено вторжением Бельского.

Сначала я услышал сопение, бормотание, скрип камней на тропинке. Потом явственно донесся вопрос: «О чем говорят тюльпаны?..» Опять непонятное бормотание, и наконец из-за скалы показался очень высокий, очень сутулый и очень тощий старик в клетчатой рубашке, с фотоаппаратом через плечо. Турист, подумал я. Странно, за весь сезон я не встречал здесь туристов... Старик шел по тропинке ко мне, и, конечно, сейчас состоится разговор, пустейший разговор, который заводят туристы, — о местности, о натертых мозолях, о тушенке, которую трудно достать и которая так необходима на ужин. Мой последний вечер будет испорчен.

— Тут уже кто-то есть, — сказал старик, заметив меня.

Знакомство не обещало ничего доброго. Но у меня мелькнула мысль: вдруг старик пройдет мимо. Однако он опустился рядом со мной на камень.

— Рододендрон, маки, — сказал он, взглянув на цветы у меня в руках. — Денеб и Алголь... Удачное сочетание. Вы их слышите?..

— Кого слышу? — спросил я.

— Цветы, — ответил старик.

— Как можно слышать цветы? — спросил я.

Старик сидел сгорбившись, опустив руки между коленей.

— О чем говорят тюльпаны? — спросил он, сосредоточенно глядя в землю.

У него навязчивая идея, подумал я. Но лицо старика было добрым, светлые близорукие глаза внушали доверие. Сумасшедшим он не был, и это меня успокоило.

— Меня зовут Борис Андреевич Бельский, — сказал он. — Я приехал из Южного Казахстана. Ездил смотреть тюльпаны.

«Ботаник...» — решил я и даже почувствовал к Бельскому что-то вроде симпатии.

— Какое чудо эти тюльпаны! — продолжал он. — Миллионы тюльпанов. И какая загадка!..

— Простите, — сказал я, — для меня здесь что-то неясно...

— Так вы их не слышите? — кивнул он на ветку саган-далиня и маки.

— Нет, не слышу, — признался я.

— Жаль! — воскликнул Бельский. — Мне показалось, что вы их слушаете и я не один!..

Старик чего-то не договаривал. Подождать, пока разговор прояснится?

— Ни одного человека, — сказал он, — кроме меня... — И опять опустил голову.

У него горе, он не может справиться с мыслями и как-то отвлекает себя от очень большой заботы...

— Ничего, — сказал я сочувствующе, — пройдет...

— Не проходит, — возразил он. — С самого детства. Но понимать их по-настоящему я начал лет десятков тому назад. Ах, если бы раньше! Ведь мне шестьдесят семь!..

Я спросил:

— Вас что-нибудь беспокоит?

— Легко сказать — беспокоит! — воскликнул Бельский. — Мне никогда не верили!

Он наклонился ко мне, глядя поверх очков. Очки у него были с двойными стеклами, я ни у кого не видел таких очков.

— Считали лжецом! — продолжал он. — А я слышу, как разговаривают цветы!

— Цветы?.. — переспросил я.

— Цветы! Каждый поет по-своему! И каждый связан с какой-то звездой.

Я подумал: не встать ли мне и не уйти вниз по склону? Он задержал меня.

— Рододендрон связан с Денебом, — сказал он, бе-

ря ветку саган-далиня из моих рук. — Маки с Алголем. Ромашки... боже мой, ромашки — не знаю, с какой звездой они связаны!.. И так каждый цветок. От самого невзрачного до тюльпанов!

Он все еще держал ветку рододендрона. Я не отпускал ветку, боясь, что букет в моих руках рассыплется. Мы так и сидели — два человека с веткой саган-далиня.

— Вы когда-нибудь спрашивали себя, — продолжал Бельский, — почему в мире так много цветов и почему они похожи друг на друга, как звезды?

— Нет, не спрашивал, — сказал я.

— А ведь это миниатюрные телескопы! Радиотелескопы, и все они обращены к звездам!

В бреду старика, если это был бред, чувствовалась последовательность, убежденность, и это мешало мне уйти — вовсе не ветка рододендрона, которую мы держали вдвоем. Ветку я мог ему отдать. Но мне хотелось послушать, что еще скажет этот странный человек.

— Посмотрите, — он отпустил наконец ветку саган-далиня, — каждый цветок, будь то ноготки, мак или орхидея, имеет венчик в виде развернутой чаши, стерженек или систему стерженьков в центре. Взгляните на этот рододендрон: разве это не радиотелескоп с ажурным зеркалом и антенной?.. Мы проходим мимо, мы не замечаем чуда, потому что оно привычно. Но это антенна, приемник, настроенный на определенную волну, он принимает передачи из космоса. Остается усилить их, разобраться в них. Хотите послушать?

Бельский растегнул кожаный футляр, в котором, как я думал, находится фотографический аппарат, вынул прибор, похожий на мини-транзистор. С одной стороны под металлической сеткой я рассмотрел круг вмонтированного в корпус динамика, с другой стороны в пластмассовой рамке было натянуто несколько волосков. Этой стороной он приблизил прибор к макам в моей руке. Из динамика полилась тихая, мне показалось,

даже робкая музыка: пели два инструмента: один низким, другой высоким тоном. Но это были не виолончель, не скрипка, не саксофон, мелодия была неземной, непривычной и в то же время волнующей, будто голоса звали к себе и не надеялись на ответ.

— Музыка с Алголя, Беты Персея, — пояснил Бельский. — А вот Денеб. — Он приблизил прибор к цветам рододендрона. В динамике забился, забормотал низкий вибрирующий голос, словно кто-то стучал в гулкую дверь. — Слышите? — спросил Бельский. — И так с каждой звезды. Сколько цветов — столько звезд.

— Неужели говорят звезды?

— Не звезды, конечно, — возразил Бельский. — У звезд есть планеты с разумной жизнью. Передача ведется в луче звезды.

— Как вы узнали об этом, Борис Андреевич? — спросил я.

Бельский улыбнулся, глядя на меня доверительно.

— В детстве меня лечили, — сказал он, — от шума в ушах. Обычно это начиналось весной, когда зацветали сады. Я слышал пение, бормотание деревьев даже сквозь ставни. Когда же открывали окно, я не мог спать. «Это ветер...» — говорили мне. Если же я начинал уверять, что цветущая вишня звучит словно хор, а яблоня как оркестр, меня журили и называли лгуном. Герань на окнах пела в три голоса, пышная примула не только звучала по ночам, но и светилась. Клуба под окнами стрекотала, аукала, визжала. Особенно досаждали мне ирисы: они беспрерывно трещали на высокой визгливой ноте, не давая покоя ни днем ни ночью. Теперь я знаю, что это морзянка, а в 1907 году, четырехлетним ребенком, что я мог смыслить в этом? «Фантазер!» — говорили мне. Потом начали возить по докторам.

— Здоровый, нормальный мальчик! — уверяли те. — Барабанные перепiski в порядке, евстахиевы трубы чисты. Нет никаких причин жаловаться.



Отец, акцизный чиновник, драл мне уши за каждый рубль, бесполезно выброшенный врачам.

— Паршивец... — говорил он, — не хочешь учиться — будешь грузчиком!

Учился я плохо, шум в ушах мешал мне сосредоточиться. Цветы ненавидел лютой ненавистью, не упускал случая растоптать клумбу, память розовые кусты. За это мне тоже влетало, меня считали дикарем, злым мальчишкой... Годам к тринадцати, однако, я привык к шуму, а потом перестал обращать на него внимание, стараясь ничем не отличаться от сверстников. Пустяками некогда было заниматься, началась революция, гражданская война. Работал я грузчиком, отец оказался прав, и слесарем на заводе, и лаборантом в исследовательском институте. Учился заочно, к пятидесяти годам закончил политехнический институт. Занимался изобретательством. До сих пор занимаюсь изобретательством. Звездифон, — Бельский кивнул на прибор, который держал в руках, — мое изобретение. Очки, — тронул рукой очки с двойными стеклами, — тоже мое изобретение.

— Что за очки? — спросил я.

— Видеть звездные передачи.

— На цветах?..

Бельский кивнул утвердительно.

— А мне можно... взглянуть? — спросил я, задерживая дыхание и волнуясь, как мальчик, которого впервые привели в цирк. — Неужели можно увидеть?..

То, что я слышал о приборе, который Бельский называл звездифоном, могло быть мистификацией, а звездифон — транзистором. В музыке я разбираюсь неважно, мало ли какую передачу, какой разговор мог принять транзистор. Рассказу Бельского можно верить, можно не верить, говорил он о вещах фантастических. Сколько фантастики печатается в журналах! Может, он где-то прочел о звездах и о цветах и выдает за свое. Но если можно увидеть — это другое дело. Зрение не обманет. Я ухватился за эту мысль, как утопающий за соломин-

ку, мне хотелось, чтобы все, о чем рассказал Бельский, не было мистификацией.

— Можно?.. — спрашивал я.

Бельский снял очки, для этого ему пришлось снять и опять надеть шляпу.

— Можно, — сказал он, — не всегда. Но у нас счастливое совпадение. Видите этот луг? — показал он на лужок, желтый от лютиков. — Эти ромашки? — На краю луга, там, где было посуше, белой простыней стелились ромашки. — Это все равно что телевизионный экран, — говорил Бельский. — Каждый цветок принимает частицу изображения. Если цветов много и они растут сплошь, можно увидеть изображение. — Борис Андреевич подал мне очки.

Я взял у него очки, поднялся с камня и пошел к поляне, желтеющей лютиками.

— Не подходите близко, — предупредил Бельский. — Передачи, как и по телевизору, надо смотреть на расстоянии.

Я остановился и надел очки.

Я увидел город. Далекий город в тумане — как смутный эскиз, как мираж над пустыней. Я видел очертания зданий, кварталы, будто находился над городом на холме или на башне. Я видел улицы, парки. Город жил — что-то по улицам двигалось, перемещалось, может быть, машины, может, толпы людей. Город был огромен, дальние его окраины тонули в перспективе, словно в пыльной дымке. Движение было на виадуках над улицами, на аллеях парков и на крышах домов. Мне казалось, я слышу шум города: стук колес, гул моторов. Чем больше я вглядывался, тем больше деталей обнаруживал: вот круглое здание, может быть, цирк, вот овальное — ипподром или стадион. Вот блещет бассейн... Что-то поднялось над городом — треугольник, летающее крыло, вот еще одно и еще. Пунктирная линия летящих предметов двигалась над домами, над пло-

щадями, первые из них уже скрылись за горизонтом. Я снял очки и спросил:

— Что это?

Бельский пожал плечами:

— В Галактике сто миллиардов звезд...

Я опять надел очки и взглянул на край поляны, белевший ромашками. Теперь я увидел океан и огромной дугой над его поверхностью мост. Дуга обрывалась там, где кончались ромашки, и мост казался повисшим в синеве воздуха и воды. Мост был металлический, легкий, ажурный и совершенно пустой. Тщетно вглядывался я в белевшую полосу шоссе, проложенного посередине моста, дорога была пустынна.

— Вижу мост, — сказал я.

— На мосту ничего? — спросил Бельский.

— Пусто.

— Вот и я, — сказал Бельский, — сколько ни смотрю на ромашки, никогда на мосту ничего не бывает.

Он прошел дальше и приблизил к ромашкам микрофон своего прибора. Я услышал шум волн.

— Дыхание моря...

— Вслушайтесь, — посоветовал Бельский.

В плеске волн я различил тихий вкрадчивый шепот — фразы, периоды, строфы... А мост был пустым. В ушах звучало, шептало, будто океан был одушевленным и говорил сам с собою.

— Удивительно! — Я передал очки Борису Андреевичу.

Тот молча сложил их и сунул в карман.

— Удивительно! — повторил я. — Вы кому-нибудь рассказывали об этом? Взяли патент на изобретение?

Бельский взглянул на меня близорукими доверчивыми глазами — честное слово, мне нравился этот открытый, немного растерянный взгляд старика.

— Патента не взял, — заговорил он. — Я изобрел звездфон недавно. Езжу вот, слушаю. Осваиваю... — улыбнулся он. Видимо, слово казалось ему прозаиче-

ским, неудобным. — Только что был в Казахстане, — продолжал он, — слушал тюльпаны... А работаю над другой моделью — стереофоническим звездофоном. Закончу модель, подам заявку. Только... — опять улыбнулся Бельский, — боюсь одной вещи.

— Чего вы боитесь? — спросил я.

— Вдруг скажут, что это чепуха, отвлеченная тема?.. Ведь лютики и ромашки — обыкновенные сорняки.

Да, да, я видел, что он боится нечуткости, непонимания, боится, что его могут публично высмеять, как высмеивали в детстве и даже секли, возя бесполезно по докторам.

— Почему не заниматься отвлеченными темами? — между тем развивал он свою мысль. — Надо исследовать все. Опыт открытий не раз говорит нам об этом: и облака надо изучать, и грибы, и полет бабочек. Изучали плесень — открыли пенициллин, любовались стрекозиными крыльями — и нашли способ нейтрализовать разрушительное влияние флаттера...

Солнце опустилось за скалы. На поляне стало прохладнее, сумрачнее. Сумерки побежали по склонам, заполняя долину синим и фиолетовым светом. Мы с Бельским пошли по тропинке.

Моей мечтой было подержать в руках его удивительный звездофон. Мы уже спустились с горы наполовину, когда мне удалось завладеть прибором. Альпийский мак и рододендрон все еще были в моей руке. Я поднес прибор к венчикам мака и опять услышал музыку — те же два голоса, высокий и низкий, которые, сливаясь, вели неземную мелодию. Казалось, от музыки исходил аромат, чуть горьковатый, как от миндаля, волнующий и печальный.

— Борис Андреевич, — обратился я к старику, — вам понятен язык передач?

— Музыка, — ответил он. — Чаше всего это музыка, а ее можно понять. Музыкой легко выразить ра-



дось, надежду, призыв, отчаяние. Все это есть в звездных мелодиях.

Бельский замолчал, замедлил шаги.

— Одного не могу понять, — сказал он, — о чем говорят тюльпаны?

— Почему тюльпаны? — спросил я.

— А вот послушайте. У меня есть запись... — Бельский достал из кармана картонную коробку, порылся в ней, вынул обрывок ленты. — Дайте-ка на минуту. — Взял из моих рук звездофон. Щелчок — лента вставлена. — Слушайте.

Из динамика полился шелест, шепот, невыразимо далекий, таинственный. Казалось, это шорох дождя по крыше: можно было проследить всплески отдельных струй, звон капель. Но это не было ни то, ни другое. Звучал живой голос, и те же всплески можно было приравнять к вздохам и паузам между фразами. Проходили секунды, минуты, шепот не прекращался — так же звенели капли, слышались вздохи и шепот таинственной передачи.

— Это Мицар, — пояснил Бельский. — Двойная звезда в созвездии Большой Медведицы. Тюльпаны принимают Мицар...

Может быть, впервые за весь разговор с Бельским я почувствовал фантастичность встречи с этим удивительным человеком. До этого мое внимание было поглощено звездофоном, чудесами, которые показывал и о которых рассказывал Бельский. Откуда он, кто он, этот старик? Почему никто не знает о нем, о его открытии? Что он делает на горном курорте?.. Я обернулся к Бельскому:

— Расскажите о себе, кто вы?

Бельский не ответил на вопрос, может быть, не слышал: мы пробирались между кустами, то и дело приходилось отводить ветки рукой, чтобы не поцарапать лицо. С минуту, наверное, Бельский не отвечал: слышалось похрустывание хвои, шелест листвы. Может,

Борис Андреевич не хотел рассказывать о себе? Я уже приготовился повторить вопрос, но он заговорил сам.

— Я уже рассказал, — отозвался он в темноте, — почти все о детстве, об учебе, изобретательстве. А так что еще рассказать вам? Пенсионер я, — смущенно признался он. — Семь лет как вышел на пенсию. По возрасту и по стажу. — Опять эти слова прозвучали у него так, как будто произносить их ему было неловко. — Семьи у меня нет, — продолжал он. — И не было. Перекати-поле, бобыль, говорят о таких, как я... А может, это и лучше.

Мне показалось, что он улыбнулся. Я вспомнил его улыбку, стесненную, рассеянную. Станный, неприспособленный человек: имеет в руках такое изобретение... Он, кажется, не ставит его ни во что. Или не понимает ему цены. Или никто не понимает его. Я ведь тоже с первых фраз принял его за сумасшедшего.

— Так я свободнее, без семьи, — говорил Бельский. — Хожу по стране, езжу. Приглаживаюсь к цветам. Был на Памире, в Крыму. Сейчас вот здесь. Остановился в доме приезжих... Пишу монографию. Не могу подобрать названия. Может быть, это будет «Цветы и космос». Звучит неубедительно, по-детски... Надо бы еще поездить по свету, — продолжал он, — собрать побольше материала. Хочу побывать в Австралии. Узнать, о чем говорят Канопус и звезды Центавра...

Говорил он скучно, неинтересно, будто ему не хотелось рассказывать о себе. Это была проза после высокой поэзии о цветах и о звездах, которую он только что мне поведал. Он чувствовал эту прозу и на полуслове прервал рассказ.

Остаток пути мы прошли молча, каждый думая о своем: Бельский, наверно, о звездах, я о заводе, лаборатории, о диссертации, которая пишется с трудом. Что бы сказал о моей диссертации Бельский, если б его спросить?..

Нет, об этом я его не спрошу. Это не главное. Главное в нем самом — что-то необычайное, неповторимое.

— Как вы объясняете, — спросил я, — свою восприимчивость к голосам звезд? В детстве, вы говорите, слышали пение и шепот цветов?..

— Как объясняю? — спросил он. — Может быть, это аномалия. Может быть, норма. Мне думается, в каждом человеке сидит то же, что и во мне. Может быть, каждая клетка нашего тела не только излучатель радиоволн — это доказано, но и приемник. Может, у меня обостренное восприятие. И такого же восприятия можно добиться для каждого. Мало ли загадок таят нервная система и человеческий мозг? Надо искать...

— Надо искать... — как эхо повторил я его последнюю фразу. Старик прав: впереди поиски и находки.

Огни поселка открылись внезапно. Тропинка перешла в дорогу, дорога раздвоилась: одна вела в поселок, другая — к спортзалу. Бельский остановился.

— Вот и пришли, — сказал он. — Спасибо вам. Я, наверно, из леса не выбрался бы и заночевал у костра. Вы любите ночевать у костра?

Я ответил, что я сибиряк и ночевать у костра мне приходилось не раз.

— А в Австралии вам хотелось бы побывать? В настоящей Австралии? — спросил Бельский, видимо, не желая больше рассказывать о себе, давая понять, что вопросов не надо.

Я ничего не ответил.

— Мне очень хочется... — сказал он.

В голосе его звучало смущение, будто он извинялся за прерванный разговор: не надо было рассказывать о пенсии, о монографии, которая еще не написана, — все это портило встречу.

— Прощайте, — Бельский подал мне руку.

Я в ответ подал свою, но с удивлением ощутил в руке звездфон.



— На память, — сказал Бельский. — Не откажите принять.

Я невольно сжал подарок в руке, подыскивая слова, чтобы поблагодарить Бельского.

— Вот и запись Мицара. — На ощупь он передал мне пленку. — Тайна тюльпанов... Хорошая тема для диссертации. С сорняками у вас не получается.

Неужели он прочитал мои мысли?..

Борис Андреевич рассмеялся:

— Мысли читать легче. Не всегда приятно, но легче.

Я был ошеломлен.

— Разгадаете тайну, — продолжал Бельский, — я вас найду. Вы можете это сделать — раскрыть загадку. У вас преимущество — молодость. Прощайте.

С минуту я слышал его шаркающие старческие шаги. В руках были пленка, заветный прибор, в голове тысяча вопросов к Бельскому.

— Борис Андреевич!.. — крикнул я в темноту.

Но его шаги уже смолкли.

## ИСТОЧНИК НЕ-ПЕЙ-ВОДА

Пройдя между холмов, Юрий опять потерял тропинку. Выругался: разуй глаза!.. Однако как ни глядел вокруг, тропка исчезла. Пошел напрямик, через кусты, перемахнул ручей, полянку, усыпанную лютиками, точно звездами, и опять наткнулся на тропку. Обрадовался: «А!..»

Делать ему здесь, в лесу, было нечего. Юрий не лесник, не геолог, даже не местный житель. Приехал на Урал к брату. Брат — буровик. Буровая километрах в семи от деревни. «Поживи денька два, — сказал Артем, — а там возьму отгульные, съездим в Кунгур». Неделю Юрий живет в Тархановке, брат не возвращается с буровой. От скуки Юрий обшарил окрестности — леса и холмы. Вот как сегодня: ушел с утра, бро-

дит. В кармане хлеба кусок, луковица, а воды родниковой в каждом овраге. Тем и доволен. И даже рад: природа.

Юрий — студент Воронежского пединститута. На Урале впервые. Урал не то что средняя черноземная полоса. На Урале Юрию интересно. Воздух другой, и земля другая, солнце и зелень. Далеко от Тархановки Юрий старается не уходить. Деревня там, за холмом, чуть вправо. А тропинка под ногами идет-идет. Куда идет? Маленькая тропинка, оттого и теряется, ленивая, думает Юрий. И мысли в голове тоже ленивые: встретить бы лисицу, ежа. Ни лисица, ни еж Юрию не нужны. Так просто — думается и все.

Тропинка пошла на взгорок. Опять ручей. Слабенький — струйка. Под ногами мокрые прошлогодние листья, порой грязца. Где перешагнув, где перепрыгнув, Юрий идет по ручью. Пить хочется. Дойду до источника, думает Юрий, попью. Поем хлеба.

Источник он нашел под небольшим присколком: лужа мутноватой воды, из нее ручеек. У подножия присколка гряда валунов. Похоже, что их тут накидали, определил Юрий. Валуны красные, серые, доступные, чтобы их поднять руками и бросить. Похоже, что источник завалили камнями, но струйка опять пробилась. Юрий присел на корточки: зачем было заваливать родничок? На одном из камней прочитал надпись карандашом: «Воду не пить». Вон что! Юрий уже хотел наклониться, пригубить. Нет, он не будет. Написано — не пить! — не будет. Но почему?.. Юрий огляделся вокруг. Ничего угрожающего, опасного. Кусты, травы, по ручью те же лютики. Все такое обычное. И вдруг не пить!

Осторожно прикоснулся к воде. Обыкновенная, прохладная. На всякий случай Юрий обтер пальцы платком. Пить хотелось. Юрий опять посмотрел на надпись. Буквы полустерты дождями. Юрий потянул слюну и окончательно решил: воздержусь.

Несколько мотыльков подлетели к воде, закружились над зеркалом. Юрий поглядел на них, хотел подняться на ноги, как вдруг один из мотыльков — не рассчитал или неосторожно спустился — коснулся воды. Вода замутилась, и мотылек исчез. Не утонул, не поплыл к бережку — исчез, будто его и не было. Юрий это прекрасно видел: мотылек коснулся поверхности, замутилась вода. Словно бы закипела. Юрий опять тронул воду рукой — прохладная. Посмотрел на груды камней. Источник завален.

Потоптавшись минуту — камни, кусты на молчаливое недоумение Юрия не отвечали, и орлы, парившие в небе, не отвечали, — Юрий пошел вниз по склону. Тропинка огибала холм наискось, и, спустившись, пройдя молодой березовый лес, Юрий вышел к реке. Здесь, на пойме, раскинулся огород — подсобное хозяйство, стоял шалаш из травы и веток, с не успевшими еще побуреть и выгореть листьями. Возле шалаша костер, над огнем, почти невидимым в солнце, висел закопченный чайник. Тут же и хозяин шалаша — бородатый дед.

— Здравствуйте, — подошел к нему Юрий.

— Здравствуй, коли не шутишь, — ответил дед.

Из шалаша вышел пес, потянулся, зевнул, вытянув лопаточкой тонкий язык. Пес был ленивый и добродушный, подошел к Юрию, лизнул руку.

— Своего чует, — заметил дед. — Подходи ближе.

Юрий засмеялся и подошел к костру.

— Полудновать будем, — сказал старик.

— Я не против. — Юрий вынул из кармана завернутый в бумагу ломоть.

Пес завилял хвостом. Юрий развернул хлеб, отщипнул корочку.

— Сами еще не ели! — крикнул на пса старик.

Пес — Волчок, назвал его позже дед — отошел в сторону, лег, зажал лапами корку и стал грызть.

— Картошка. — Старик высыпал на дощатый круг сваренные картофелины. — Соль. — Вынул из котом-

ки пачку соли, насыпал на тот же круг. — А меня зовут, — сказал, — дед Бубей.

Юрий назвал себя.

— Из буровиков? — догадался дед.

— Брат мой на буровой, — ответил Юрий.

Дед очистил картофелину, посыпал солью. Кивнул Юрию, приглашая:

— Ешь.

Юрий тоже очистил картофелину, посыпал солью. Спросил:

— Огурцы караулите? — Огород был огуречный, кое-где на плетях начиналась завязь.

— Караулю, — ответил дед, неторопливо разжевывая картофель.

Так они, не болтая лишнего, поели, принялись за чай, дед налил две жестяные кружки. Чай был зеленый, душистый, располагал к разговору.

— Что это за источник там, на холме? — спросил Юрий.

— Забитый камнями?.. — Дед испуганно вскинул брови.

— Да, — ответил Юрий. — Зачем?

— Опять потек? — спросил дед.

— Ручеек, — ответил Юрий. — Струйка.

— Язви его! — выругался дед, отставил кружку.

Перемена в настроении старика поразила Юрия. Он хотел спросить, в чем дело, но Бубей спросил сам:

— Ты не пил из него?

— Нет.

— Хорошо, что не пил.

— Почему?

— Источник Не-пей-вода.

— Не-пей-вода?..

Юрий — литературовед, фольклорист по воронежским сказам. Название заинтересовало его.

— Вредный источник, — продолжал дед. — Никто не пьет из него, разве что ведьмы.

У Юрия вытянулось лицо.

— Ведьмы да оборотни, — подтвердил Бубей.

Вот уж чего не ожидал Юрий в век электроники!

— До нас было, — говорил между тем Бубей. — Дед мой рассказывал, а деду моему его дед. Так что источнику уже на нашей памяти двести лет. Нечистое место. Гора нечистая и источник.

— Что ж там такое? — спросил Юрий.

— Разное. Мужики с той воды волками воют. Бабы на стену лезут. Иные в птиц превращаются и в зверей. Было — и на метле летали.

О том, что Урал славится сказами, Юрий знал. Помнил книги Бажова. Жалел, что поздновато родился, не встретится с автором «Хозяйки Медной горы». И вот перед ним живой сказочник. Юрий ловил каждое слово Бубея.

— Что там, спроси у каждого, — продолжал дед. — В мою бытность Лелька Козоева попила той воды, так, знаешь, кукушкой представилась. Только и слышно: «Ку-ку!..» По лесинам лазила днем и ночью. Пока не упала и не убилась до смерти. Тогда и порешили деревней забить родник. Накидали камней — уняли. А вот видишь, опять пробился. Ты, парень, не пил?..

— Да нет же!

— Упаси бог!

Дед долго не мог успокоиться, расспрашивал, большой ли родник, что видел и что слышал у источника Юрий.

— Ох-ох-ох!.. — вздыхал на слова студента.

Когда Юрий рассказывал, как упал мотылек, вода замутилась и мотылек исчез, дед подтвердил:

— Во-во! Всякая живность растворяется в нем, разваривается.

— Но вода-то холодная.

— Щупал?

— Было, — подтвердил Юрий.

— Смотри... — Бубей затряс головой.

Провожая Юрия от шалаша, дед продолжал вздыхать, охать, и все это было, начиная с названия родника, так непонятно, таинственно, что Юрий дал себе обещание побывать на источнике еще раз, внимательно к нему приглядеться.

От Артема пришла весточка, что на буровой авария, в Тархановку он придет неизвестно когда и что ты, братка, там не скучай.

Юрий скучать не думал. На следующее утро он был у источника. Рассказы деда Бубея оставили неприятный осадок в душе, и Юрий оглядывался вокруг настороженно. Место в самом деле было не из приятных. Присколок выпирал из горы, словно вытолкнутый недоброй силой. Темно-пористая поверхность, свисающий клочьями мох создавали впечатление неприятности, запущенности места; груда камней, накиданных кое-как, тоже походила на неопрятную кучу, казалось, что птичьих голосов здесь меньше. Воздух застоялый какой-то — мрачностью веяло от источника. Однако Юрий противился впечатлению. Ничего тут особенного, успокаивал он себя, обыкновенный родник. Таких родников Юрий повидал немало в этом богатом водой краю. Были теснины, ущелья мрачнее этого, и настороженность Юрия понемногу исчезла. Рассказы, думал он о вчерашних предупреждениях деда. День солнечный, светлый — что может случиться в такой день?.. О том, что может что-то случиться, мысль у Юрия была. Где-то в самых тайниках мозга. Случилось же что-то с Лелей Козоевой — Бубей уверял, что этот случай подлинный.

Юрий посидел на камне метрах в четырех от источника. Потом подошел ближе, присел на корточки. Лег на живот, вгляделся. Вода кипела — так ему показалось на первый взгляд. Приглядевшись, однако, Юрий переменял мнение: родник бил из земли, поднимал со дна песчинки, они мутили воду. Юрий потянул носом — ничего, кроме сырости. Коснулся воды ладонью — прохлада.

Оставалось одно — напиться. С минуту Юрий раздумывал. «Не пей», — предупреждал дед. «Напьюсь», — начал спорить с ним Юрий. «Не пей...» — «Напьюсь!» Юрий наклонил лицо к воде, и перед тем как глотнуть, когда уже ничего не оставалось, губы коснулись воды, с камня или с былинки, наклонившейся над водой, упал рыжий лесной муравей. Мгновение он еще держался на поверхности, шевеля лапками, но тут же растворился в воде, исчез. Юрий глотнул.

Все вокруг изменилось. И Юрий изменился — он уже не был Юрием. Он стал воплощением страха. Понимал, что это за страх и откуда — от одиночества. Юрий или то, что теперь было Юрием, метался в огромном лесу. Причудливые стволы вырывались из земли, колоннами стремительно уходили в небо. Небо было фиолетовым, и в нем качались бледные, размытые, величиной с блюдце звезды. Все вокруг было фиолетовым — тени, воздух. А Юрий метался, метался — искал след. Не тропку, не дорогу — именно след. Странно, что он потерял его, был один. Бросался между деревьями вправо, влево, а звезды качались над ним, были как надувные шары — то сжимались в объеме, то увеличивались. Куда поворачивал Юрий, не было следа. В этой стороне не было. Ужасный фиолетовый лес!.. Вернуться? Куда?.. Опять влево, влево... Наконец след найден — душистый, пахучий след! Юрий побежал между стволами, и след становился все душистей, душистей. Превратился в стежку, справа, слева к стежке присоединялись другие ниточки, и Юрий наполнился уверенностью, что все хорошо. А небо, земля фиолетовые, иногда в синеватой дымке. Дымка повисала среди стволов, заполняла ложбинки, но это Юрия не тревожило. Его вел сладостный запах.

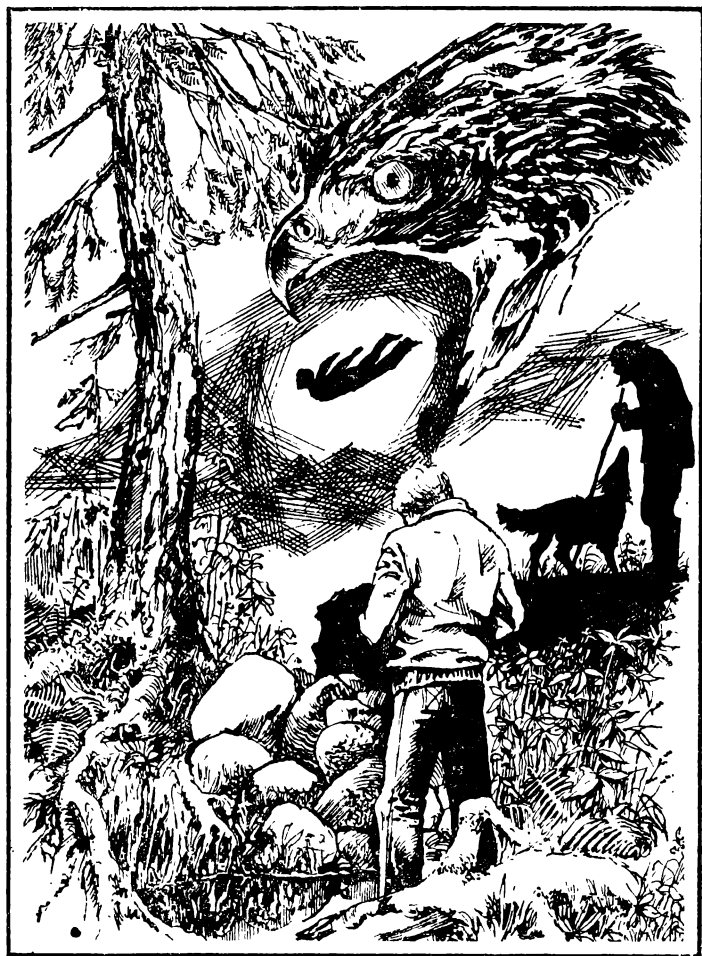
Послышался цокот — словно копытами по булыжнику. Цокот не испугал Юрия, напротив, обрадовал — Юрий был не один. Из-за поворота выскочил муравей, понесся навстречу. Это из-под его лапок слышался цо-

кот, и Юрий с удивлением заметил, что у него такие же муравьиные лапки и тоже издают цокот. Юрий быстрее помчался навстречу собрату. Они едва не столкнулись. Встречный обшарил Юрия усиками, и это звучало как «Ничего нет?». Юрий так же усиками ответил: «Нет» — и они разминулись.

Но вот Юрий зачуял добычу. Свернул со следа, родной запах заполнял теперь лес, можно было не бояться, что потеряешь его, останешься одиноким. Добыча была близко — Юрий чувствовал ее теплоту и ее запах, отличный от родного Юрию запаха. Обегая стволы, Юрий искал — тут где-то, тут! — и наконец наткнулся на гусеницу, неуклюже ползущую по земле. Юрий мгновенно впился в нее челюстями. Гусеница задергалась, приподняла его от земли, но Юрий намертво сжимал челюсти. Гусеница трясла его, волочила по земле, Юрий не отставал. «Ко мне! Ко мне!» — сигнализировал он усиками. Помощь пришла: двое муравьев вынырнули откуда-то, вцепились в гусеницу рядом с Юрием, брызнули кислотой. Серое чудище дернулось, изогнулось, подняло всех троих в воздух, швырнуло на землю, но челюсти ни у кого не разжались. Юрий прыскал кислотой, то же делали оба его помощника, острый запах заполнил лес. Гусеница извивалась, валилась на бок, на другой, но подбегали новые муравьи, впивались в добычу. Вся гусеница была облеплена врагами, уже не извивалась, дергалась. Добыткики поволокли ее между стволов, вытащили на тропу и, мешая друг другу, наступая на лапы, поволокли дальше. Встречные муравьи вцеплялись в серую тушу и так — кучей — дотащили до муравейника. Тут Юрия все стали оглаживать усиками: «Нашел! Нашел!», отделили от кучи собратьев, все еще занятых гусеницей, втокнули в главный вход муравейника.

Звезды над головой исчезли, но и здесь, в проходах, стелился фиолетовый сумрак, повороты светились синим. «Нашел!» — обшаривали встречные Юрия, а он по ходам мчался в глубь муравейника. Его обволакивал





родной чарующий запах, обнимало тепло, и, кажется, лучшего уже ничего не могло быть. Но Юрий мчался вперед. «Нашел!» — сопровождало его. И сам он был горд и великолепен: «Нашел!» Его увлекало в глубину, дальше, где матка, хозяйка гнезда, откладывает яйца. Он доложит ей, крикнет: «Нашел!» Вот уже слышно: «Оу! Оу!» — хозяйка гнезда кладет яйца. «Оу!» — фиолетовый сумрак ярче. Сейчас Юрий увидит хозяйку — он добытчик, герой. «Оу!» Ему радостно и боязно в то же время, он полон силы, заряжен энергией — так на него действует родное гнездо, он готов отдать все, себя самого для всех, для хозяйки. «Оу!» Сейчас он увидит ее. Сейчас!..

Юрий открыл глаза. Все слетело с него мгновенно. От солнца он сомкнул веки, увидел убегающий фиолетовый сумрак, в сознании все еще звучало, отдаваясь, стихая: «Оу!...»

Что это было? Юрий заметил, что лежит на земле, вскочил на ноги. Что это? Сон, явь?.. Сердце колотилось в груди, как от бега, во рту стоял привкус кислоты, запах муравейника. Было? С ним? Юрий растерянно оглянулся.

Светило солнце. Мутно блестел источник. Ветра не было, теплая сырость охватывала Юрия. «Было?» — спросил он еще раз. Ответил: «Было!...»

Что же это такое?

Юрий опять склоняется к воде. Ему жутко и любопытно. Странный фиолетовый мир еще не ушел из его сознания. Сколько же миров — и каких? — в этой воде? Напиться еще? Странно и любопытно. Юрий опять ложится на землю. Он знает — напьется. Что бы ни случилось, напьется. Узнает тайну источника.

В конце концов ничего с ним не случилось. Может, приснился сон, но ничего плохого не случилось. Еще глоток. Маленький глоток, как в первый раз. Может, он опять станет муравьем? Увидит царицу муравейника? «Оу!» — звучит у него в мозгу. Ничего плохого не

будет, уверяет он себя. Не будет! Он уже ощущает влагу. Приблизил губы к воде.

Овод садится ему на ухо. Юрий вскидывает руку, сбивает его. Овод падает в воду. Всплеск. Замутнение. Овод исчез. Глоток воды клубком проходит по горлу.

О жаркий, пьянящий, сладостный, вожделенный вкус крови! И вместе грызущее непереносимое чувство голода! О солнце, зной, трепет крыльев, жало, готовое впиться в живую плоть! И голод, голод! Голод и здесь еда! Рядом еда. Много еды! И злость! И желание пить горячую кровь! Сейчас примериться. Сейчас впиться! З-з-з... Десятки таких же жаждущих вьются рядом. Кто первый? Кто смелый? З-з-з... Ах-х!.. — свист тугого жесткого волоса — свист смерти. Увернуться, уйти! А еда — живая гора — вот она! З-з-з... Сесть — значит рисковать. Сесть — значит быть сытым. Смелей!.. Ах-х!.. — опять свист. Жгут волос хлестнул рядом. Кого-то зацепил, да? Корчится на земле? Не я! Не я! Ну сесть...

Рывок — и горячая пахучая вожделенная плоть, вот она! Вцепиться лапами в волос. Противный жесткий волос, но за него можно держаться. Под ним тысячи пор-лунок. Нужна только одна лунка. Нужна только одна капля крови! Жало нашупало лунку. Вонзить глубже, глубже! О-о! Теплое солоноватое влилось в хобот. Теперь тянуть, глотать! О-о! Красные огненные клубки — кровь состоит из них, как из вишен. Глотай, глотай! Красные клубки, как вишни, проходят по пищеводу! О наслаждение! Жизнь!.. Шерсть, кожа дергаются, им больно. Глотай, глотай!

Свист. Удар. Смяло крылья. Закружило, швырнуло. О-о-о!..

Юрий с трудом открывает глаза. Он корчится на земле. Каждый нерв как струна, в голове звон. Пальцы скрючились, впились в землю.

Со стоном Юрий поднимается на колени, на ноги. Все перед ним плывет, солнце в небе раскачивается,

пляшет. Неверными шагами на дрожащих ногах Юрий идет прочь от источника. «Не так просто... Не так безобидно... — путаются в голове обрывки мыслей. — Не так все просто!..»

Юрий еле добирается до шалаша. Пес Волчок бросается на него с яростью.

— Волчок! — зовет дед.

Добродушный, ленивый пес неузнаваем. Шерсть ошетижилась на загривке. Заест!

— Волчок!..

Может, от Юрия тянет муравьиным мускусом? Трупным запахом овода?

Дед Бубей отгоняет пса палкой. Тот ложится поодаль, рычит. Дед спрашивает Юрия:

— Оттуда?..

— Оттуда.

Юрий ничего не рассказывает Бубею. Жадно глотает чай, чтобы заглушить во рту солоноватый вкус.

— Парень?.. — спрашивает дед.

Юрий поднимается:

— До свиданья.

Два дня он никуда не выходит. Сказался больным, лежит на кровати. «Что это было? — думает он. — От чего? От воды?»

Перебирает в уме все, что слышал, читал о воде. О водах.

Есть легкая вода. Есть тяжелая вода. Есть живая вода и есть мертвая. Есть целебная. Есть, наверно, необыкновенные воды. В источнике — необыкновенная. Свойства ее, формула неизвестны Юрию, он не геолог, не химик. Известен результат — невероятный, ошеломляющий. Вода растворяет в себе организм, будь то мотылек, муравей, овод. Что еще?.. Выпив такой воды, человек превращается в другое существо. Нет, возражает себе Юрий, человек остается человеком. Но ощущение, сознание приобретает другое. Как это происходит? И тут Юрий ничего не может объяснить, он не биолог.

Но то, что было с ним, потрясающе. Он обретал новый мир.

Сколько чудес на земле, думает Юрий, неведомых, неоткрытых. Психика насекомых, зверей и птиц, например. Зоопсихика. Никем еще не начатая наука. Что она может дать человеку?.. Но мысли Юрия опять возвращаются к источнику. Не-пей-вода! Предупреждение в названии, отрицание, даже страх. Перед чем страх? Перед неведомым. Люди знают об этом. Но неправильно понимают само явление. Оборотни, ведьмы — все это вздор. Есть проблема, загадка. Каким образом сознание одного существа передается другому?

Артем не приезжал. На буровой устранили аварию.

На третий день после происшествий у родника — на десятый пребывания в Тархановке — Юрий вышел из дому во второй половине дня. Погода стояла та же, ясная; неомраченное небо светилось шелковой синевой. В зените кружились беркуты.

Юрий пошел не через лес, а тропинкой на огороды.

— Пошто долго не был? — спросил Бубей.

— Приболел, — сказал Юрий.

— Посиди, — сказал дед.

Пошел по заметной только ему стежке в глубь огорода. Юрий остался у шалаша. Волчок лежал поодаль.

— Волчок! — позвал Юрий.

Пес не шелохнулся, не подошел.

— За что ты на меня так? — спросил Юрий и засмеялся: что это он — собаку вызывает на разговор.

Вернулся Бубей. Выложил из кармана десяток огурцов:

— Первые.

Ел и разговаривал Юрий мало. Видно было, что его занимала какая-то мысль.

— О чем ты, парень? — спросил Бубей.

— Дай мне, дед, ружье. До вечера, — попросил Юрий.

— Зачем?

— В лес схожу.

— Сезон не охотничий, — сказал дед.

— Да я так... — неопределенно сказал Юрий. — Для вида.

— Коли так, возьми. Ни лисиц, ни зайцев не стреляй, оштрафуют.

— Ладно, — пообещал Юрий и взял ружье.

Миновал огороды, свернул на гору, к источнику.

— Куда? — крикнул дед от шалаша.

Юрий махнул рукой.

Какое-то время он бродил вокруг источника без особых намерений. Ружье висело на плече, он забыл о нем. Но это казалось, что он забыл. Мысль работала в голове и окончательно сказала «да», когда Юрий увидел на вершине сосны беркута. Птица отдыхала, изредка охорашивалась, приглаживая клювом перья. Юрий подстрелил беркута — перебил крыло. Долго лазил по кустам, пока не нашел птицу, а когда нашел, накинуд на орла пиджак, выбрался из гущины на поляну.

Это была знакомая поляна с источником. Не-пей-вода. Юрий с подбитой птицей в руках присел на камень. Задумался.

После захода солнца он не вернулся к костру. К ночи не вернулся домой.

Не вернулся утром и к обеду следующего дня. Вечером объявили поиск пропавшего студента.

Дошла тревога и до Бубея. Тот взял Волчка, пошел к источнику. Здесь, у воды, он увидел ружье и одежду Юрия. Пиджак лежал в стороне нетронутый. Брюки, сорочка студента были превращены в грудку тряпья, словно кто-то нарочно раздирал ткань на ленты, полосы. Тут же валялось два-три пера беркута.

Ружье и одежду Бубей принес в сельсовет.

Юрия нашли на исходе третьего дня. Нашел Волчок под скалой, в непроходимой чаще, привел людей. Кусты были исковерканы, смяты, будто Юрий валялся на них

или упал с высоты. Руки, ноги студента поломаны, сам он был без сознания.

По дороге в больницу он бредил:

— Какое солнце... Простор! И небо глубокое, синее...

Когда его клали на операционный стол, у него неловко подвернулась рука. Юрий произнес еще одно слово:

— Крыло-о!..

## НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ДАР

На контрольно-пропускном пункте в комнате с дымленной печью, столом и кроватью для сторожа Деревянко семь человек: шесть нормальных и седьмой ненормальный. К нормальным относятся Деревянко, местный врач Прокопий Кузьмич и четверо игроков в домино, разместившихся за столом. Ненормальный — Володя Векшин, молодой лесничий, проработавший здесь, на Лабе, два года и теперь под надзором Прокопия Кузьмича едущий в районную поликлинику к психиатру.

Сторож при должности: пропускает машины, везущие лес с верховьев реки, отбирает пропуска и заносит в реестр кубики вывозимой шоферами древесины. Игроки в домино ждут попутную машину в верховья. Прокопий Кузьмич с Володией, в противоположность игрокам, ожидают машину вниз. Вернее, доехали до контрольного пункта, машина свернула в сторону — шофер поехал проведать родню и должен с минуты на минуту вернуться.

Деревянко и Прокопий Кузьмич ведут разговор о необычайном событии, свидетелем и косвенным участником которого является врач. Володя только что поднялся, вышел. Прокопий Кузьмич косит взглядом на него через окно. Деревянко тоже смотрит на Володю через окно, удивляется:

— Не может быть!..

— А вот и может! — возражает Прокопий Кузьмич.

— Читать мысли — это же ни в какие ворота!.. — Деревянко трясет головой с видом полного недоверия к словам Прокопия Кузьмича.

— А вот и читает!

Деревянко секунду смотрит на Прокопия Кузьмича — сказанное врачом не укладывается в его голове. Прокопий Кузьмич говорит:

— Способность открылась такая. Необыкновенный дар.

— Значит, — неторопливо начинает расспрашивать Деревянко, — он может узнать, сколько, к примеру, у меня в кармане денег?

— Может.

— И откуда у меня эти деньги?

— Может, — уверяет Прокопий Кузьмич.

Деревянко незаметно поглядывает на ящик стола. Сторож не без греха: в ящике трешница — сунул шофер за провоз лишних досок.

— Да... — крикает он.

Прокопий Кузьмич невозмутимо говорит сторожу:

— Все может.

Но тут размышления сторожа принимают другое, противоположное направление:

— Ну а если, к примеру, у меня пропал подсвинок. Может он узнать, кто украл?

— И это может, — отвечает Прокопий Кузьмич.

— Подумать только!.. — удивляется Деревянко. — А может, его пригласить к себе на чай?

— Некогда, — говорит Прокопий Кузьмич. — Ему что, подсвинком заниматься?..

Прокопий Кузьмич гордится своим пациентом. Необыкновенный дар Володи он, может, единственный понимает во всем районе.

— А с чего началось? — Деревянко придвигает табурет ближе к врачу.

— С чего?.. — переспрашивает Прокопий Кузьмич.



Подходит к окну, смотрит сквозь запыленные стекла. Володя сидит на бревнах на берегу реки.

Прокопий Кузьмич возвращается на свой табурет и, видя, что Деревянко ждет ответа на вопрос, говорит:

— Это, брат, непросто, с чего...

Володя сидел метрах в двадцати от комнаты, в которой играли в домино и старики разговаривали о нем, размышлял о своем положении. Перед ним была река, запруженная бревнами, — запань. Могучие тросы перехватывали реку, сдерживали тысячи кубометров сплавленного по воде леса. За рекой вставала гора, покрытая пихтовым молодняком и жидким бледно-зеленым осинником. Было позднее утро, солнце, поднявшееся за спиной у Володи, пригревало. Но от реки тянуло прохладой, и прикосновение солнечных лучей было приятно, располагало к раздумью.

Думать, однако, мешал шум, доносившийся из комнаты контрольного пункта. Шум был двояким: голоса людей и их мысли.

Игроков четверо, и, хотя Володя ни с кем из них не знаком, он уже знает их имена, даже клички: Федюк, Артем Василич, Мишка Волк и Лапоть. Федюк — от фамилии Федюков, Лапоть — Семка Гуляев, кличка ему дана за нерасторопность в работе. Мишка Волк... Волк, наверно, тоже фамилия.

Играют в домино они рьяно: бьют с размаха костями о стол, спорят друг с другом и пререкаются.

— Что ты ставишь? Что ты ставишь? — кричит на Лаптя Федюк. Про себя добавляет: «Черт лохматый!» Вслух: — Не видишь, что выставляю вторую двойку?..

— Без подсказ! Без подсказ! — говорит ему Артем Василич.

Мишка со стуком забивает федюковскую двойку костяшкой два-три.

— Пое-ехали! — смеется над Федюком, у которого нечего ставить, на обоих концах линии тройки.

— Черт! — ругается Федюков и прибавляет в уме непечатное выражение.

Лапоть невозмутим. У него все утро вертится в голове песня:

Гармонь певучая  
Меня замучила...

Он пересчитывает костяшки в руках и после Артема Василича ставит на конец линии три-четыре.

А сердце девичье  
Чего-то ждет...

Мишка долго разглядывает, чем забить четверку, выставленную Лаптем: костяшкой четыре-пять или четыре-шесть. Пожалуй, лучше четыре-пять. Он так и делает: выставляет на конец пятерку. Федюк молча отходит дублем пять-пять, думая при этом: «А то засушат!..» Лапоть поет:

В заволжской стороне  
Покоя нету мне...

Ставит костяшку пять-шесть.

«Ну чурбан! — дергается Федюк. — Сейчас они выпустят «Марата», а ведь можно было его забить!»

Мишка, точно, выпускает «Марата» — дубль шесть-шесть, самую мощную кость, которую называют «Маратом» в честь многопушечного линкора. Лапоть поет:

Когда же милый мой  
Ко мне придет?..

Федюк мысленно стонет, что не удалось «засушить» «Марата», зато ставит костяшку шесть-два.

— Вот вам! — говорит он вслух и про себя добавляет: «Попляшете!..»

Артем Василич сожалеет, что приходится забивать

тройку на другом конце линии, ставит три с единицей. Лапоть — один-четыре и начинает песню сначала:

Гармонь певучая  
Меня замучила...

Все это слышно Володе отлично, хотя окно закрыто и никого из игроков он не видит. Уходить от солнышка не хочется, пригревшись, Володя вспоминает, что с ним произошло. Воспоминания не очень веселые.

Работа у него несложная — отпускать лесосеки заказчикам. В этот день надо было застолбить делянку колхозу «Путь Ленина». Накануне старший лесничий сказал Володе:

— Отведи им в Горелой пади четыре гектара.

Когда Волода пришел в контору, заказчики — трое немолодых мужчин — ожидали его.

— Пошли, — сказал им Володя.

Говорили о том, о сем — о зиме, например: сугробы вон какие. На деревьях снега не то что шапками — шубами.

Свернули с лесовозной дороги — сразу по пояс. Непривычные к лесным сугробам клиенты запыхтели, стали хвататься за сердце.

— Стойте здесь, — сказал им Володя. — Я пройду, зарубки сделаю — вот и весь ваш участок.

Клиенты остались курить, Володя полез по снегу дальше, делая через каждые метр-полтора затесы на крутобоких пихтах и соснах...

На секунду Володя отвлекается от воспоминаний: солнце пробралось под гимнастерку и припекало. Из сторожки доносилось:

— Так его!

Хохотал Мишка Волк: ему удалось прокатить Федюкова.

«Ладно, ладно...» — мысленно злился Федюк, Лапоть пел:

Гармонь певучая  
Меня замучила...

Старики Деревянко и Прокопий Кузьмич молчали, о чем-то думали. Мысли их мешались в комок, и до Володи доносилось невнятное: «Бу-бу-бу...»

«Пусть себе...» — подумал Володя и опять вернулся к воспоминаниям.

Прошел половину пути, обстругивая топором серую и желтую кору, как вдруг позади него раздался треск. Володя оглянулся, но снег, сыпавшийся с ветвей, запорошил глаза. Не видя, но чувствуя, как на него надвигается что-то слепое, огромное, Володя присел от страха, и тут стонущая громада накрыла его. Володя потерял сознание...

А сердце девичье  
Чего-то ждет...

— Рыба! — крикнул сумасшедшим голосом Мишка. — Считай очки!..

Володю вытащили из-под дерева, и первое, что он услышал, был разноголосый шум встревоженных голосов:

— Убит?

— Задавило?..

— Ах, боже мой, боже мой!..

— Да нет, он смотрит!..

— Берись, хлопцы, понесем на дорогу.

— Ах, боже мой!..

— Говорю, смотрит!

— Очухался!

Володя действительно открыл глаза. Он колыхался над снегом — его несли на руках. А шум в ушах продолжался:

— Ну угораздило!..

— Хорошо, хоть живой!

— Как себя чувствуешь?

— Ну пронесло! А то отвечай!..

— Как себя чувствуешь?

— Ничего, — ответил Володя.

— Ну пронесло...

Вынесли его на дорогу, поставили на ноги. Поправили на голове шапку.

— Болит что-нибудь?

Володя пощупал затылок. От макушки и ниже, от уха до уха, расплылась шишка. Взбухла под пальцами, поднялась, шевелила волосы.

— Как?.. — спрашивали у него.

— Ничего, — ответил Володя.

— Ну пронесло, а то отвечай...

— Курить будешь?

Володя взял папиросу. Ему чиркнули спичкой.

— Ну пронесло...

— И случись же!..

— Могло убить!

У Володи трещала голова, перед глазами плыло.

А они все продолжали:

— Могло убить!

— Есть ли у него дети?..

Володя затянулся дымом, сказал:

— Замолчите вы!

И тут заметил, что все курят молча.

Однако голоса не прекращались:

— Молодой, пожалуй, еще нет детей.

— Глупый баран — прет, не видит, что дерево наклонилось...

— Ну пронесло...

Володя встряхнул головой — стало еще больнее.

— Ишь ты, бедняга.

— Муторно небойсь...

Володя обвел глазами мужчин, все трое смотрели на него, молчали. А ему слышалось:

— Так бы и не вернулся...

— Вот тебе жизнь человеческая: чик — и нету.

— Ну пронесло...

«С ума можно сойти, — подумал Володя, — откуда такие болтуны?»

Голоса ясно слышались в голове:

— Возвращаться?..

— Вот неудача!

— Завтра опять переть в гору!..

— Ну что ж, — сказал один, — давайте, ребята!

Володю взяли под руки, повели.

В заволжской стороне  
Покоя нету мне...

Лесовозной машиной Володю привезли в поселок.  
В медпункт он не хотел:

— Отлежусь...

Володю ссадили у порога квартиры...

Из сторожки доносилось все то же:

Когда же милый мой  
Ко мне придет?..

Володя поглядел на реку, на бревна. Песня ему осточертела.

Гармонь певучая  
Меня замучила...

Неужели у парня в голове, кроме гармонии, ничего нет?..

Володя сделал усилие над собой, возвратился к воспоминаниям.

В этот день Тамара была в отъезде. Домик, в котором они живут, на две квартиры. Рядом, через стенку, бригадир лесорубов Лапин с женой Ларисой и дочкой Надей.

В кухне у Володи старенькая софа. Сбросив полушубок, шапку и валенки, Володя лег на софу. Шишка на затылке опала, но в голове шипело и булькало, как в котле. Хоть бы не сотрясение мозга, подумал Володя и закрыл глаза.

Было тихо, только откуда-то доносилось:

— Дважды один — два, дважды два — четыре, дважды три — шесть...

Володя перевернулся на бок, приник ухом к подушке.

— Дважды четыре — восемь, дважды пять — десять...

Соседская Надька учит уроки, догадался Володя.

— Дважды шесть — двенадцать...

Володя приподнял голову, голос бубнил:

— Дважды семь — четырнадцать...

Стукнула дверь, пришла Лариса, Надина мать, видимо, из магазина.

— Учишь таблицу? — спросила у дочки.

— Учю.

— Учи вслух!

Как будто она не вслух, подумал Володя. Из-за стены доносилось:

— Трижды один — три, трижды два — шесть...

К этому прибавился голос Ларисы:

— Пачка кофе — сорок девять копеек. Килограмм сахару — семьдесят восемь. Килограмм масла — три семьдесят. Всего пять рублей семь копеек. Брала с собой шесть рублей. Сдача — восемьдесят три копейки. Где десять копеек?

Одновременно с этим подсчетом Володя слышал:

— Трижды семь — двадцать один, трижды восемь — двадцать четыре...

— Где десять копеек?

Чего они так орут? Володя хотел постучать в стену. Неудобно, однако.

— Четырежды один — четыре, четырежды два — восемь...

Под таблицу умножения Володя заснул.

Гармонь певучая  
Меня замучила...

— Тьфу!.. — Володя встал с бревен, прошел по берегу, сел на камень.

Но и тут слышалось:

В заволжской стороне  
Покоя нету мне...

Узнал о своем несчастье, а может быть счастье, Володя, когда приехала Тамара.

Проспал он глубоким, но болезненным сном, наверное, часов пять. Проснулся от стука в сенцах.

— Дома... — слышался голос Тамары.

Она шумела веником, стряхивала с валенок снег.

— Ружье-то... — сказала она. — Так и стоит в углу, как метла. Поставил и бросил. Охотник...

Вошла в комнату, зажгла свет.

— Дрыхнет... — увидела мужа на софе в кухне. — Шапка на полу, полушубок тоже... Никак не приучишь... Выпил? — подошла к Володе. — А может, умаялся. Ладно, пусть спит...

Володя чуть приоткрыл глаза, стал следить за женой. Голова болела, но не сильно.

Тамара налила супу, нарезала хлеба, села к столу. Стала есть. В то же время она разговаривала сама с собой:

— Эти поездки — провались они пропадом. На путных машинах истреплешь одежду, измажешь всю... А что толку, что съездила? Даже магазин оказался закрытым — переучет.

При этом Тамара жевала, прихлебывала. Ела с аппетитом, что называется, в полный рот.

— В ателье индпошива ничего. Ничегошеньки. Серость...

Володя открыл глаза пошире: как она может есть и разговаривать? Да еще так громко. В конце концов ведь он спит. Могла бы потише...

Тамара ела: откусывала хлеб, работала ложкой.

— Ларисе везет, — говорила она при этом. — У Ларисы что ни платье — картина.



Губы у Тамары не шевелились. И все же с набитым ртом она разговаривала:

— Блат имеет бригадир — вот у нее и все есть. А у моего Вовки никакого блата...

— Тамара? — сказал Володя, приподнялся на локте.

— Проснулся, — сказала Тамара с набитым ртом. — Доброе утро?

— Томка!..

— Ты чего? — спросила Тамара и перестала есть. — Вроде не пьяный... — тут же сказала она, но губы у нее не шевельнулись.

— Тамара... — уже со страхом сказал Володя.

Тамара бросила ложку.

— На тебе лица нет! — сказала обыкновенным голосом. И с закрытым ртом: — Что с Володькой?..

— Выйди из кухни, — сказал Володя.

— Зачем?

— Выйди из кухни!

Тамара поднялась, вышла.

— Если не пьяный, то сумасшедший, — слышалось Володе из другой комнаты.

— Что ты сказала? — спросил Володя.

— Ничего.

— Ты сказала, что я сумасшедший.

— Ничего я не сказала! — Тамара с любопытством взглянула на мужа, показав лицо из-за двери.

— Вот и сейчас говоришь — сумасшедший, — попробовал Володя уличить супругу.

— Не говорю, но думаю, — сказала Тамара.

— Думаешь?..

— И еще думаю, что, пока я в поездке, ты тут устраиваешь беспорядок. — Она подняла полушубок, положила на табуретку. Володя не видел, как она подняла полушубок, но спросил:

— О полушубке думаешь?

— О полушубке.

— А сейчас о валенках, что бросил возле порога?..

— О валенках, — призналась Тамара.

— А давеча думала, что универмаг на учете, а в индпошиве ничего нет?

— Вовка!.. — Тамара появилась в двери.

— А еще думала, что на Ларисе платья — картины. И что бригадир блат имеет?..

— Вовка! — У Тамары округлились глаза.

— Молчи! А твой Вовка никакого блата не имеет?..

— Откуда ты все это знаешь?

— Знаю.

— Прочитал мои мысли?..

— А еще сказала, что в сенцах ружье стоит, как метла.

— Во-овка...

После этого они весь вечер обсуждали открывшуюся у Вовки удивительную способность, и Вовка рассказывал жене, о чем разговаривают и думают Лапины, пока Тамара не прикрикнула на супруга:

— Молчи, бесстыжий!..

Потом легли спать в спальне, и Володя не мог уснуть: Тамара тарахтела у него под ухом то о неудачной поездке, то о письме, которое получила на днях от матери. Володя несколько раз притрагивался щекой к ее губам. Но Тамара и с закрытым ртом продолжала тараторить без умолку:

— Мама пишет, что куры у нее пропали — всеобщий мор. Дядя Степан говорит: «Это от химии — кормила протравленным зерном». А мама ему: «В прошлом году кормила таким же...»

— Ты мне мешаешь, — сказал Володя и ушел от Тамары на софу в кухню.

В заволжской стороне  
Покою нету мне...

В сторожке Лапоть никак не мог избавиться от песни..

Когда же милый мой  
Ко мне придет?..

Сначала было забавно слушать, кто о чем думает, рассуждает в конторе или сидя с соседями. Приятно ошарашить неожиданным ответом раньше, чем был поставлен вопрос.

— Как ты узнал? — спрашивали у Володи.

Как — Володя не открывал, все переводил в шутку. Однако, коснувшись раз-другой чужих секретов, интимных дел, Володя стал чувствовать на себе косые взгляды, выслушивать не совсем приятные мысли. Его — втуне, конечно, — называли пронырой, подозревали, что он шпионит под окнами, не раз хотели, конечно, мысленно, дать ему в зубы. Володя решил попридержать язык.

Потом стало надоедать: обычно мысли дублировали фразы. Сначала мысли, потом фразы. Слушать от собеседника дважды одно и то же становилось скучно — толкут воду в ступе. Все опротивело.

Вот как сейчас:

Гармонь певучая...

В конце концов Володя пошел к Прокопию Кузьмичу и рассказал ему все.

Старый врач удивился:

— Ничего подобного не встречал!

Володя пожал плечами.

— Давай проверим, — предложил Прокопий Кузьмич. — Что у меня сейчас в голове?

— Окорок, — сказал Володя.

— М-да-а... — протянул Прокопий Кузьмич. Он думал об окороке, который коптился у него за сараем.

— А сейчас?

— Крокодил...

— Сильно! — сказал Прокопий Кузьмич. К дню рождения внучки он приготовил резинового крокодила. Хранил тут же, в медпункте.

— Что мне делать? — спросил Володя.

— Как это у тебя открылось?

Володя рассказал историю с падением дерева.

Прокопий Кузьмич согласился, что подобное может быть: у людей отшибало память от страха, отнимало речь. Но чтобы прибавляло что-нибудь, об этом Прокопий Кузьмич не слышал.

Володя опять спросил:

— Что мне делать?

— Я, брат, тебе не скажу, что делать, — откровенно признался Прокопий Кузьмич. — По таким делам я не специалист. К профессору тебе надо.

— К какому?

— По высшей нервной деятельности.

— Где я его найду?

Прокопий Кузьмич подумал.

— Единственное, что предложу, — сказал он, — съездим в район к психиатру.

Володя вскинул на Прокопия Кузьмича глаза.

— Нет, нет, ты не бойся! — сказал врач. — Ничего плохого у тебя нет, в сумасшедший дом тебя не посадят. А совет, к какому профессору обратиться, дадут. По-едем.

И вот они едут.

Гармонь певучая  
Меня замучила...

Володя встал с камня — пересечь дальше: гармонь и его замучила.

В это время из-за поворота показывается машина — та самая, которая довезла Володю и Прокопия Кузьмича до сторожки.

По ступенькам крыльца сходят Деревянко и Прокопий Кузьмич. Сторож открывает шлагбаум, пропускает машину. Прокопий Кузьмич лезет в кузов, Володя лезет за ним. Здесь, на Лабее, автобусы не ходят с сотворения мира: дорога горная, битая — кочка на кочке. Врач и

Володя усаживаются в кузове на соломе, машина трогается.

Гармонь певучая...

Володя думает о том, что скажут ему в районной поликлинике.

Ничего особенного врач-психиатр не сказала. Посмотрела в зрачки, спросила, как зовут, сколько лет. Может, была неразговорчивой, а может, говорить было некогда — разговаривал Прокопий Кузьмич, старался подать пациента в наилучшем виде:

— Через стенку, через улицу, даже через два дома слышит! Удивляюсь, Серафима Гавриловна, откуда у него такое? Феномен! Мессинг! Что Мессинг? Мессинг против него мальчишка! Кристалл-самородок. Посмотрите на него, Серафима Гавриловна!

Серафима Гавриловна заполнила бланк с печатью и долго растолковывала Володе, как найти в Краснодаре мединститут и в мединституте профессора Ринкина.

— Прямо к нему! — сказала она. — Он специалист по аномальному мышлению.

Володю царапнуло слово «аномальному», но бумажку он взял, положил в карман.

— Вот и хорошо! — приговаривал при этом Прокопий Кузьмич. — Дар у него изумительный, Серафима Гавриловна!

Проводил Володю до автостанции и, прощаясь у автобуса, похлопывал Володю по плечу:

— Найдут применение твоим способностям, подходящую работу! Следователем, например. Берегись, ворье! — Прокопий Кузьмич засмеялся. — А то завмагом в большом магазине, чтобы продавцы не того...

Прокопий Кузьмич пошевелил пальцами в воздухе и опять засмеялся.

Володя вздохнул: что его ждет?

В город он приехал вечером. Устроился в гостинице. Не выходил из номера, думал: какой будет встреча

с профессором? Жизнь его менялась коренным образом. Пока он был в поселке, с Тamarой, «необыкновенный дар», как говорит Прокопий Кузьмич, был для Володи наподобие флюса: раздуло щеку, чувствуешь припухлость при каждом шаге. Можно привыкнуть на какое-то время: с тобой случилось — сам переживаешь. А теперь «флюс» начнут осматривать, ощупывать, могут сделать больно. Да и что получится из всего этого?

Володя ворочался в кровати, забылся далеко за полночь.

Проснулся в дурном настроении. Пошел отыскивать институт. Нашел. Походил по этажам, отыскивая профессора Ринкина Эдуарда Павловича — так было написано на конверте. Нашел на втором этаже, постучал в дверь.

— Войдите! — ответили из-за двери.

Вошел:

— Вы Эдуард Павлович?

— Чем могу?.. — Человек за столом откинулся в кресле.

Володя подал ему конверт. Сел на стул. Эдуард Павлович кивнул ему: присаживайтесь.

Эдуард Павлович оказался человеком высоким, полным, с вихрастой седеющей головой, с серыми глазами навывкате; толстая верхняя губа нависала над нижней наподобие надутой автомобильной шины. Губа не понравилась Володе.

— Гм... — сказал Эдуард Павлович, прочитав письмо Серафимы Гавриловны.

Прочитал еще раз. Посмотрел на Володю.

— Значит, молодой человек, — спросил, — читаете мысли?

— Читаю, — сказал Володя.

Глаза навывкате обшаривали лицо Володи с откровенной насмешкой. «Самоуверенный шарлатан», — очень четко произнес мысленно Эдуард Павлович.

Володя молчал. В голове у него шумело после бессонной ночи.

— Не скажете ли вы, о чем я сейчас думаю? — спросил Эдуард Павлович.

— О том, что сегодня в автобусе вам дали счастливый билет, — ответил Володя.

— Гм... — хмыкнул Эдуард Павлович.

Не спуская с Володи глаз, нагнулся, открыл нижний ящик стола, на ощупь взял что-то, стиснул в ладони.

— Что у меня в руке?.. — спросил быстро, не давая Володе подумать. Что в руке, он и сам толком не знал. Картонная коробочка. А вот с чем, пусть прохвост отгадает.

Володя сказал:

— Не знаю.

— Гм... — сказал профессор, но уже другим тоном. И опять четко подумал: «Законченный шарлатан!» — Видите?.. — разжал пальцы.

На ладони лежала коробка с канцелярскими кнопками. Справедливости ради надо сказать, что, когда Эдуард Павлович стискивал коробку в руке, он предполагал, что коробка со скрепками.

— Значит, ваши «возможности», — Эдуард Павлович выделил слово «возможности», подчеркнув, что оно в кавычках, — не безграничны?

Тут же он икнул и поморщился.

— Конечно, — сказал Володя, — не безграничны. Но вот сегодня утром вы завтракали. Домработница Катя подала вам два сваренных всмятку яйца. Вы еще подумали: яйца почти коричневые от черной курицы... Одно яйцо оказалось тухлым. Вы огорчились и выругали домработницу Катю за то, что она не умеет выбирать яйца на рынке. Вы ее выругали так: «Дубина стоеросовая...» Катя слышала через дверь и обиделась. Потому что не знает, что такое «стоеросовая». Я тоже не знаю. А вам после тухлого яйца плохо...

По мере того как Володя все это говорил, глаза у

Эдуарда Павловича расширились и под конец полезли на лоб.

— Ну... — сказал он, встряхнув головой, — о-отлично.

— Если вы меня еще раз назовете шарлатаном и прохвостом, — сказал Володя, — я поднимусь и уйду.

— О-отлично... — тянул Эдуард Павлович, выпрямившись в кресле, и вдруг оглушительно захохотал. — Не знаете, что такое «стоеросовая»? Ха-ха-ха!.. — На глазах его были слезы. — Я тоже не знаю! Хоть убей, не знаю!.. Вашу руку, молодой человек! — Потянулся через стол к Володе волосатой рукой.

Володя пожал ему руку.

— Мир на вечные времена! — сказал Эдуард Павлович и вытер со щеки остатки слез. — Ведь действительно смешно, а?..

Они еще долго беседовали. Договорились, что Эдуард Павлович покажет Володю научным сотрудникам, они поговорят с Володей накоротке и тогда все вместе подумают, как рационально использовать открывшиеся у Володи способности.

— Замечательные способности! — Эдуард Павлович дружески улыбался Володе, кивал и проводил до двери, обняв за плечи.

Володе уже не казалась противной полная верхняя губа Эдуарда Павловича, Володя почувствовал к Эдуарду Павловичу расположение.

— Завтра в девять часов, — говорил Эдуард Павлович, — только без опозданий. Тут любят аккуратность.

День Володя провел кое-как. Заметил, что ему невыносимо в толпе. На рынке, в магазине, на улице шум у него в голове стоял такой, что голову распирало, впору набивать обручи. Точно в вороньей стае: все кричат на разные голоса и не поймешь, о чем. И все будто в кривом зеркале: слова и мысли вперегонки, забивают друг друга, схлестываются, как в радиоприемнике, волны, когда накладываются одна на другую.



Побродив бесцельно по улицам с полчаса, Володя пришел к себе в номер и лег отдохнуть.

Вечером у него был инцидент.

На втором этаже гостиницы ресторан. Володя решил покушать, вошел в залу. Сел за столик, стал ждать, когда подойдет официантка. За столиком сидел клиент — парень одного с Володей возраста, но с бородкой, шевелюрой и галстуком, который показался Володе бесконечным: свешивался куда-то под стол.

Когда Володя сел, парень подумал: «Что за чурбан? Не видел такого...»

Володя ничего не сказал, стал наблюдать и слушать.

У входа в раздаточную работали над посудой молодые официантки. Делали вид, что не торопятся к посетителям, между тем все подмечали и видели.

— Маша, — сказала одна, — гляди, какой парень сел к тебе, — указала глазами на Володю.

Та обернулась:

— Рядом с Пентюхиным?

— Ненавижу Пентюхина, — сказала первая. — Так и обсасывает глазами.

— Я тоже ненавижу Пентюхина, — сказала Маша.

— Парень не наш, — опять про Володю сказала первая.

— Приезжий, — ответила Маша.

— Лицо открытое, и взгляд честный.

Маша опять обернулась, посмотрела на Володю:

— Пойду обслужу.

Пока она шла, сосед Володи подумал: «Машка сегодня обслуживает — шлюха».

Володя смотрел на Машу: подтянутая, стройная девушка.

«Шлюха, — между тем повторял Пентюхин. — Шлюшка!»

Володя молча взглянул на него.

«Шлюшка!» — повторил Пентюхин.

Маша подошла к столику, обратилась к Володе:

— Что вы закажете?

«Шлюшка! — повторял Пентюхин. — Шлюшка!..»

Володя заказал селянку и рыбу.

— Вы? — обернулась Маша к Пентюхину.

— Водки, ромштекс и кофе.

Маша записала, пошла выполнять заказ.

«Шлюшка! — повторял ей вслед Пентюхин. — Икрами как сверкает, шлюшка!»

Володя давно заметил, что некоторые люди в мыслях повторяют одно и то же, будто в мозгу их прокручивается пластинка. На Володю всегда это действовало угнетающе. Вот и сейчас в мозгу Пентюхина крутилось: «Шлюшка!..»

Володя опять взглянул на Пентюхина.

«Шлюшка!..» — повторил тот.

— Оставьте Машу в покое, — сказал Володя.

— Что? — спросил Пентюхин.

— Оставьте Машу в покое.

«Смотри-ка, — подумал Пентюхин. — За шлюху заступается. Может, ему в морду дать?..»

— Кому в морду дать? — Володя положил руки на стол.

— Что такое?.. — спросил Пентюхин.

— То-то «что такое»... — передразнил Володя.

«Может, он брат этой шлюхи?» — подумал Пентюхин.

— Ты опять не успокоился? — спросил Володя.

«Харя! — подумал в ответ Пентюхин. — Пырнуть тебя из-за угла...»

Володя встал, обошел столик. Пентюхин обернулся к нему со стулом. Володя взял парня «за душу», галстук скрипнул у него в кулаке.

— Меня? — спросил он. — Пырнуть из-за угла?..

— Да ты что... ты что? — Тут только Пентюхин стал понимать необычайное в этом чудаковатом парне. — Откуда ты взял... пырнуть?

— Я твои мысли за квартал вижу, — сказал Володя.

Потянул за галстук Пентюхина. Тот нагнулся вперед, поехал на стуле. Получилось смешно — за соседним столиком прыснули.

— Пошел вон отсюда! — сказал Володя. — Чтобы духу твоего не было!

Отпустил парня. Тот встал и, оглядываясь, пошел к двери.

Маша принесла заказ. Володя стал есть и прислушиваться, что говорят вокруг.

— Кто этот широкоплечий? — спрашивали о нем рядом за столиком.

— Первый раз вижу.

— Однако наших парней за галстук!..

— Пентюхина стоит.

— Конечно, стоит...

За другим столиком спрашивали:

— Чего они не поделили?

Кто-то обернулся к Володе:

— Одного поля ягоды. Молодежь...

У себя в номере Володя задумался. Предложат работать следователем, завмагом, как определил Прокопий Кузьмич? Ловить жулье?.. Такая деятельность Володе претит. У Володи добродушный, покладистый характер. По натуре Володя добр, верит в честность людей. Придя в номер, он уже два раза вымыл руки после Пентюхина. Возиться с такими Володе не по душе. Попросят, чтобы его вылечили. А если не вылечат, уедет к себе на Лабу, в леса. Чего ему еще надо?

Эти мысли Володю успокоили.

На следующий день состоялся консилиум.

Шесть человек ученых определяли судьбу Володи. Не было скепсиса, не было смеха до слез, Эдуард Павлович поработал неплохо над своими друзьями: ученые приняли Володю всерьез.

Были вопросы: с чего началось? Как это отражается на психике, на здоровье? Был вопрос, нравится ли Володе читать чужие мысли. Володя ответил: не нравится.

Все-таки это удивительно и необычайно, сказали ему. Володя согласился.

— Где бы вы хотели работать?

— Вылечите меня, — сказал Володя.

— Видите ли... — Ему объяснили, что случай с ним уникальный. Во всяком случае в медицине. Может быть, и в истории человечества. Поэтому Володя представляет собой ценность.

— Нужно переменить обстановку, понаблюдать за вами.

— Мне надо работать, — сказал Володя, — у меня семья.

Ученые задумались.

— Все ведь работают, — сказал Володя.

— Знаете что, — сказал один из ученых — молодой, но с белыми волосами, — поедemте к нам.

— Куда?

— В Зеленчукскую астрофизическую обсерваторию.

Ученые стали переглядываться друг с другом.

— Я астроном Речковский, — пояснил белоголовый Володе. — И знаете, идея, — обратился к ученым. — У нас в программе поиск сигналов из космоса. Способности этого молодого человека могут нам пригодиться.

Володя внимательно слушал.

Речковский обратился к нему:

— Поедемте, у нас вам понравится.

Володя согласился ехать в обсерваторию. Оттуда и до дома рукой подать.

Шефство над ним взял Николай Петрович, белоголовый.

— Уясните задачу, — говорил он по пути, «Волга» летела по новому шоссе в горы. — Изучите приборы, телескоп. Ознакомлю вас с электроникой и радиоастрономией. У нас увлекательная работа.

Откровенно Володю пугало его новое назначение. Кроме методов насаждения леса и истребления его в лесосеках, Володя почти ничего не знал — окончил ле-

сотехнический техникум. Об этом он откровенно рассказал Николаю Петровичу.

— Научитесь, — ободрял его Николай Петрович, — не боги горшки обжигают.

По приезде в астрономический городок Николай Петрович дал Володе книги, наметил программу, как и что изучать.

— Учителем буду я, — сказал он просто. — Читайте и спрашивайте.

Володе понравились обсерватория, городок. Понравились сотрудники, с которыми его познакомил Речковский. Астрономы — народ серьезный, малоразговорчивый. Это Володе особенно по душе.

Книги он перечитал, сделал выписки. Поначалу робел перед масштабом работ, которыми занимались в обсерватории. Робел перед глубиной и таинственностью неба, перед звездами.

— Может, возле каждой из них миры, — говорил Николай Петрович. — Может, цивилизации, как наша или более развитые, чем наша. Ищут связи друг с другом. Может, находят. И нам предстоит найти.

Николай Петрович был мечтателем. Постепенно Володя понял, что мечтать — это значит искать, дерзать.

— Наверное, — говорил Речковский, — от дальних цивилизаций, подобно радиоволнам, идут в просторы вселенной мысли. Может быть, многократно усиленные техникой. Мы еще не можем поймать и понять эти мысли, у нас нет соответствующих приборов. Может, приборов здесь и не надо, нужен подход: живую мысль надо ловить восприятием живого, не электронного мозга.

И вот они — Николай Петрович и Володя — долгими часами изучают небо и звезды.

— Слушайте, Володя, — говорит Николай Петрович, — слушайте.

Николай Петрович конструировал Володе необычайных видов и форм антенны: квадратные, спиральные, шаровые, эллипсоидальные, параболические.

— Слушайте Лебедя-51, Альфу Дракона, звезду Барнарда...

Все эти звезды Володя уже знал. Находил их, слушал их далекий невнятный шепот.

Если ему мешали мысли людей, он уходил выше и дальше в горы.

Сам научился искать и мечтать.

Николай Петрович не торопил его, не докучал вопросами. Нетерпением здесь не поможешь. Видя, что Володя освоился с техникой, с поиском, предоставил ему свободу действий и времени.

Ждал, конечно. И Володя знал, что Николай Петрович ждет.

Минули лето, осень, зима. Но астрономия — наука неторопливых. Володя вжился в нее, тоже не торопился и где-то в начале весны, зондируя невидную, незаметную блестку в Персее, услышал голос: «Где вы?..»

Нет, это не был голос. И это не был шепот. И не был шелест. И не шорох ночной. Это был вопрос, возникший в мозгу Володи, два маленьких слова: «Где вы?..»

И еще это было неожиданно. От неожиданности Володя вздрогнул и упустил волну.

Несколько дней и ночей Володя ходил взволнованный. Может быть, ему показалось? Но он слышал!.. Два маленьких слова: «Где вы?..» Рассказать об этом Николаю Петровичу или не рассказывать? Вопрос мучил Володю не меньше, чем упущенные два слова: услышал он их или ему показалось?

Через неделю в тот же час — около полуночи — Володя услышал: «Братья...» Замер как камень, чтобы не шелохнуться. И вслед за словом «братья...» услышал: «...по мысли».

Складывалась фраза: «Где вы, братья по мысли?» Кто-то звал, кто-то тосковал в поиске, ждал ответа.

Володя записал фразу: «Где вы, братья по мысли?» — и ждал-ждал, что будет еще.

В конце марта он поймал еще одно слово: «Откликнитесь!»

Записал это слово и пошел к Николаю Петровичу.

Тот прочитал запись, координаты звезды. Еще раз перечитал. Еще раз перечитал. И жестом, полным волнения и надежды, закрыл лицо руками.

Володя думал, что он обрадуется, или не поверит открытию, или рассмеется от счастья. Но Николай Петрович сказал только:

— Неужели?..

## ЧАЙКИ С БЕРЕГОВ ТИХОГО ОКЕАНА

Мой друг, писатель Леонид Васенюк, привез мне с Тихого океана двух чаек, великолепных птиц, черноголовых, сизых, как дым, подкрашенных багрянцем расвета.

— Тебе, — сказал Леонид, передавая птиц вместе с клеткой.

— Как ты догадался? — воскликнул я.

— Тебе! — повторил он и сделал широкий жест, будто очертил передо мной даль океана.

Леонид был романтик. Оба мы были романтиками со школьных лет. Перечитали все книги о море, о путешествиях, о Пржевальском и Крузенштерне. Перерыли шкафы, чердаки у знакомых ребят в поисках книг о приключениях, и сам поиск был для нас приключением. Мы представляли себя искателями сокровищ, если находили «Северную Одиссею» Джека Лондона, «Ледяной сфинкс» Жюль Верна, бесстрашно рыскали по Клондайку, прокладывали пути в Антарктику. Мастерили нарты, упряжь к ним для дворовых собак, а не получалось, бросали ради постройки корабля на реке Кубани. Застреливали где-нибудь на споре о стакселях, трисселях и, не окончив по этой причине корабль, проектировали под-

водную лодку, чтобы плыть к Полюсу недоступности. Все, что следовало пережить мальчишкам, мы пережили. Война сразу сделала нас взрослыми — пятнадцати лет мы добровольцами ушли в армию. После встретились, учились в вузах, а потом каждый выбрал свою дорогу: Леонид стал писателем, а я сеятелем — выращивал пшеницу и первый кубанский рис. На какое-то время потеряли друг друга. Не хотелось верить, что навсегда, и действительно, Леонид отозвался с Курил — наше босоное прошлое снова вернулось к нам. Я нашел рассказ «Съешьте сердце кита». Такой рассказ мог написать только Ленька. Потрясал заголовок, потрясающим было содержание рассказа, по сути, о простых людях, но сколько романтики, свежести было в рассказе!.. Едва прочитав первые строки, я сказал через тысячи километров: «Здравствуй, Леня!»

Этим словами начал к нему письмо.

Леонид от того, что сделался знаменитым, не стал гордецом. Ответил на письмо, завязалась частая переписка.

— Приезжай на Курилы, — звал он.

— Выращиваю рис, — отвечал я.

— И что, — возражал Леонид. — Найдется работа здесь.

Курилы для меня теперь были все равно, что Антарктика или Клондайк. Детство скрылось за горизонтом, приключения остались в книгах. Шла обыкновенная жизнь: планерки в кабинете директора, поля над рекой, ежемесячная зарплата. Отцовский дом к этому, знакомый до каждого уголка и гвоздя, двое сыновей, растущих, словно подсолнухи, и всегда каких-то новых и неожиданных: «Папа, что ты знаешь о «черных дырах»? «Белые» тоже есть?» — Хватают из телека, из журналов, каких мы в детстве не видели.

— Приедешь? — между тем спрашивал Леонид.

Милая страна приключений! Как нелегко стать теперь на твои пути и дороги!..



И вот приезжает Леонид, привозит птиц. Откуда-то из этой великолепной страны.

Разговариваем день, другой. Мало ли о чем найдется поговорить? О жизни. О книгах. О планах. Но вот наступает час расставания.

Утро. От реки тянет прохладой, луговым влажным запахом. Чайки словно чувствуют отъезд Леонида, кричат ему вслед.

— Странные птицы, — останавливается тот у калитки. — Помнишь пушкинского орла? «Зовет меня взглядом и криком своим и вымолвить хочет...». — Леонид прерывает на полуслове. — У меня тоже птицы... — продолжает через секунду. — Тайна, Миша. Их перелеты — тайна. Их отношения между собой, к людям... Словом, смотри. Если что...

И уже за калиткой, садясь в машину:

— Помнишь, увлекались почтовыми голубями? Привяжем записку, и они переносят вести. Так вот, есть гипотеза: птицы способны переносить впечатления. Да, да... Не гляди на меня так! Переносить и передавать. Через версты, через расстояния... — Леонид засмеялся, пожал мне руку. — Бывай!

Много было сказано слов, пока Леонид гостил у меня, многое сказано на прощание. Ничего я не придал особенного этим последним фразам. Что хотел сказать Леня пушкинскими стихами? Что значит: у меня тоже птицы... В клетке? Или вообще на берегу океана? Главное — друг уезжает. У него ведь работа писательская ничуть не легче, чем любая другая.

Птицы остаются со мной.

Чайки плохо приживаются в неволе. Но я хотел приучить птиц к себе. А потом выпустить на Кубань.

Клетка висела под потолком веранды. На веранде стол и кровать. Летом я здесь сплю. Меньшая сторона веранды, застекленная, большая, с видом на реку, открыта. Она же южная, солнечная. По утрам на какой-то миг блеск от реки падал на веранду, на птиц. Они

встречали солнце протяжными криками. В криках чувствовалась тоска по простору, и я говорил птицам:

— Погодите немного, выпущу.

Кормил я их рыбой -- сам приносил с Кубани, да и сыновья днями пропадали на реке — рыболовы.

— Ешьте! — бросал я рыбу в клетку. Птицы хищно глотали, запивали водой из поставленной чашки и смотрели мне в глаза круглыми внимательными зрачками:

— Выпусти.

Я обещал выпустить, но со дня на день откладывал обещанное. Не хотелось расставаться с красавцами — улетят ведь!

С птицами я разговаривал, как с людьми: спрашивал о самочувствии, о чем они думают. Спрашивал об океане, свободе, может, они понимали меня?

В одном я не сомневался: птицы мечтают. Об океанских ветрах, о полете — они иногда поднимали крылья, встряхивали ими.

Рассуждая сейчас, после событий, перевернувших мою судьбу, я не могу понять, что общее было между птицами и мной, рисовым агрономом. Однако было. Тому свидетельство — ход событий, обстановка, в которой события начались.

Кровать стояла в углу веранды. Клетка с птицами напротив кровати — на столбе, держащем перила крыльца. Засыпал я и просыпался, птицы были перед глазами. Может, они следили, как я засыпаю и сплю? По ночам они шевелились, сон их не был спокойным.

Стали беспокойными и мои сны.

Сначала я не заметил этого: кто в зрелые годы придает значение снам? Что-то проходило перед глазами, задевало сознание, а проснешься, тряхнешь головой — исчезало. Впрочем, в поездках в часы, когда остаешься с самим собой, в душе поднималось что-то тревожное — позовет кто-нибудь, что ли? Поднимешь голову — ничего.

Потом пришел шум. Засыпая, я слышал его — рит-

мичный, тягучий. Что такое? Может быть, устаю? Уставал я и прежде, но такого шума не слышал: «У-ух-х! У-ух-х!» Даже днем задумаешься и слышишь: «У-ух-х!..»

Что-то знакомое, а не поймает. Начал прислушиваться. Среди поля встану и слушаю: вспомнится... вот сейчас... У-ух-х! Непонятно! И, как все непонятное, это пугает. Я стал зажимать уши ладонями, затыкать ватой. Шум только усиливался.

Я уже ни о чем не мог думать. Не мог читать.

— Что с тобой? — спросила жена. — Ты болен?

Что я мог ей сказать?

И вдруг — да ведь это морской прибой! К ударам примешивался шорох, скрежет, как будто терся камень о камень!..

На какой-то миг это меня успокоило. Объяснение найдено. Но тут же пришли вопросы: откуда прибой? От дома до моря сто километров!.. Между тем прибой бился у меня в ушах, как гигантское сердце.

И — наверно, одно к другому — перед глазами стало возникать море. Приляжешь даже не задремать — какой сон при часовом перерыве? — прикроешь глаза — появляется море. Как-то странно появляется, будто я смотрю на него сверху, плыву над берегом. Прибой набрасывается на скалы, камни блестят влажные, а я плыву — лечу, и навстречу мне ветер. Картина была до того реальной, что я — впервые это привиделось днем — не раскрывал глаз: не упустить бы море, вскинул руку ощупать стену. Дома я, стена рядом!.. Значит, мне снилось. Сон, однако, двойной: я дома, и я над морем, ощупываю стену веранды и лечу над водой... Мыслил я очень отчетливо и раздвоение ощутил с испугом: сон наяву привлекал и тревожил одновременно.

Вечером пришло то же: волны, прибой. Бывал я на Черном море. На сочинских пляжах. Но море, которое видел теперь, было другим.

Так стало повторяться из ночи в ночь. Иногда картина менялась: уходил берег, внизу были волны, впереди

линия горизонта. Гул прибоя стихал, слышался шелест пены на гребнях волн.

Опять менялось: горизонт валился наискосок, в глаза ударяло солнце. Я сжимал веки, а когда поднимал их, видел перед собой корабль...

Вставал с постели, этим, наверно, будил птиц, они шевелились в клетке. Иногда подавали голос, это толчком отдавалось у меня в сердце. В глаза наплывало море, хотелось к нему.

Утром шел на работу. И на следующий день на работу — все двигалось чередом. Однако тоска по морю оставалась в душе, зрела, становилась частью меня самого. Тоска и тревога. Отчего же тревога? Отчего мечта по несбыточному рвет меня на куски? С поля, с вечернего совещания при директоре меня гнало домой. Но и здесь спокойствия не было. Море хотелось видеть.

И от того, что хотелось, видел берег, волны. Корабль. Рыбу, мелькавшую перед глазами. Крик чайки близко — над ухом. Проснувшись, я пытался понять: кричала чайка во сне или в клетке?

Подолгу разговаривал с птицами.

— Папа, что это ты? — заметил младший сын Борька.

Я поднимал его к птицам:

— Хотел бы такие крылья?

— Хотел бы. — Мальчик тянулся к клетке.

Я отстранял его. Никому не разрешал беспокоить птиц.

— Выпусти их, — просил Борька.

— Выпущу.

Борька спрашивал:

— Где их дом, далеко?

— Приходи перед сном, расскажу.

Вечером Борис забрался в кровать раньше меня.

— Набегался? — Я прилег рядом с ним.

— Вижу сон, — ответил мальчишка.

— Ты же не спишь, — засмеялся я.

— Все равно вижу.

— Что видишь?

— Море.

— Море?

— Синее бурное море.

В полусвете, падавшем из окна, я заметил, что мальчишка лежит, сомкнув веки, и на лице его такое выражение, будто он хочет что-то поймать.

— Почему у тебя такое лицо? — спросил я.

— Не мешай!.. — прошептал Борис.

— Чему? — так же шепотом спросил я.

— Ловить рыбу.

Я молча глядел на сына.

— Поймал! — заорал вдруг Борька, сцепив пальцы.

Открыл глаза, поглядел на руки:

— Куда она делась?

— Кто?

— Рыба!

Я опять засмеялся, а Борька сказал:

— Море уходит из глаз. — И прибавил: — Хочу туда!

Что-то убедительное — не фантазия — было в словах мальчишки. Я попросил:

— Расскажи по порядку.

— Лежу, — заговорил Борька, — жду тебя. Ты долго не приходил, у меня начали закрываться глаза. Я сначала боролся, раскрывал их даже пальцами, а потом мне показалось, что я слышу шум. Прислушался и забыл, что надо раскрывать глаза. И тут я увидел море. Близко — летел над ним. Волны шумели. Было все как в кино. Белые гребешки, брызги. Да я... папа, я и сейчас вижу море. Подожди, — Борька закрыл глаза ладонями. — Так лучше, — сказал он. — Море опять пришло. Такое же...

По мере того как Борька рассказывал, перед моими глазами тоже возникло море.

— Брызги так и летят!

Брызги летели.

— Но тогда я увидел рыбу, кинулся к ней, — продолжал Борька.

В воде светлыми лезвиями скользили рыбы.

— Вот они!

Рыбы шли косяком.

— Ой сколько! Счас!.. — Борис поднял руки, растопырил пальцы. — Счас, папа...

Море метнулось нам обоим в глаза. Мелькнула рыба. Борис выкинул руки вперед.

— Промахнулся!.. — жалобно сказал он. И тут же воскликнул: — Пароход!

По волнам рядом проходил пароход. Большие белые буквы блестели на освещенном борту.

— Что написано? Что написано?.. — шептал Борька.

— «Охотск».

— Так ты видишь?

— Вижу.

Борька повернулся ко мне, я тоже раскрыл глаза.

— «Охотск», — сказал Борька. — Бо-ольшой!

В клетке, растревоженные нами, беспокоились птицы.

Больше море не появлялось, хотя Борис опять закрыл ладонями глаза и ждал продолжения сна. Сон его не удивил нисколько. Удивил пароход. Меня тоже удивил пароход. Но больше — как можно, чтобы двум неспящим людям приснился одинаковый сон?..

Борис тоже опомнился.

— Почему, — спросил он, — нам обоим приснился «Охотск»? Ты видел, пап, там матросы и капитан. Какой большой! — опять воскликнул малыш. — Так и режет воду, и режет! Кино!.. А если, пап, пароход этот на самом деле? И матросы и капитан? А в каком это море, в нашем или в заграничном?

Я молчал. Меня волновали те же вопросы, что и мальчишку.

— В каком? — допытывался Борис.

Минуту он помолчал.

— Что ты еще заметил на пароходе? — спросил. — А рыба? Совсем живая! Я схватил ее, папа, а в руках ничего!

Борька вертел растопыренными пальцами у глаз.

— Живой сон какой-то, — закончил малыш. — Все в нем живое... Я к тебе еще приду завтра, ладно? Может, еще увидим...

Я отослал мальчишку спать. Но сам не мог заснуть до утра.

Сон, если это сон, не давал мне покоя. Мало того, что он приснился нам обоим, сыну и мне. Такие сны приходили ко мне все лето. В чем здесь причина?

Борька стал приходить каждый вечер. Всякий раз мы видели море. Стали жить им и бредить. Наступал день — ждали вечера. День тянулся, тянулся...

Незаметно для себя я стал задерживаться дома, на работе мне было неважно. Борис перестал гонять на реке, вертелся рядом.

— Пап, а как это? — спрашивал. — Что будет еще? Дом был заполнен ожиданием, разговорами:

— Вот бы увидеть кита, пап?

Жена наконец заметила:

— Что вы все шепчетесь? И ты, старей, — ко мне, — отлынивать от работы начал. Думаешь, я не вижу?..

Не видела она главного. И не хотела видеть. Старшего сына не было — в турпоходе. Какое бы впечатление произвели на него наши сны? А если бы и он тоже?.. Но об этом нельзя помыслить!

— Сумасшедшие! — ругалась жена. — Дела у вас нет, что ли?..

Ничего, однако, не помогало. Сны приходили к нам каждый вечер.

Может, это внушение? Но кто внушает? Откуда?..

— «Охотск», — повторял я уже вслух. — «Охотск»...

Вспоминался приезд Леонида. Охотское море, Курилы... Может, я скучаю по нему? Может, его рассказы внушают мне тягу к романтике? Полно! Леониду и мне

под пятьдесят. Какая уж тут романтика? Впрочем, за Леонида поручиться нельзя — бросил все, уехал на океан... Но за себя я ручаюсь. Ни Жюль Верн, ни Лондон не волнуют меня так, например, как невыполненный план по урожаю. Да и не читаю я книги о приключениях. Ленькины книги — другое дело. От них, может быть, сны?..

В клетке птицы хлопают крыльями. Протяжно кричат. Может, это от птиц?..

Подхожу к ним:

— Грустите?..

Птицы смотрят мне в глаза колдовскими зрачками. В них море и солнце. В них призыв: улетим! Мне говорят: улетим! Из их глаз в мои переливаются море, волны. Бьются о скалы. Пароход идет на меня...

— Подождите, — говорю, внезапно застигнутый смутной мыслью. — Подождите немножко...

Бегу на почту. Пишу телеграмму Леониду: «Есть ли такой корабль — «Охотск»?»

Ответа жду четыре долгих дня. Ответ положительный: «Пароход «Охотск» есть. Жди письма».

Еще жду. Приходит письмо.

«Не случайно, наверно, спрашиваешь о пароходе, — пишет Леонид с Итурупа. — Пробудились мечты о приключениях? Пробудили их чайки?.. Уверен, Миша, — пусть ты от меня за тысячи километров, — все дело в птицах.

Я немножко фантаст, ты об этом знаешь, — продолжал Леонид. — Я придумал гипотезу, что птицы передают впечатления. Говорил тебе о ней, помнишь, когда прощались? Не всегда, наверно, передают и не всем. Для этого надо настроиться «на волну». Мы с тобой мыслим одинаково, чувствуем одинаково. У меня тоже чайки и тоже в клетке. Все они — твои и мои — взяты из одного гнезда, это нужно для опыта. Я стою перед ними, думаю о твоих птицах и о тебе. Чайки думают о полете, о море, их мечта передается



твоим птицам. А через твоих чаек тебе. Оправдывается моя гипотеза.

Есть и еще вопрос: как находят птицы пути перелета, берег в тумане? Родное гнездо среди тысячоиди-наковых, но чужих? Как обучают птенцов, что с первого рывка в море те уже знают рыбу и приемы охоты?.. О чем думают птицы при высиживании птенцов? Не передают ли свой опыт зародышу?.. Все это до чрезвычайности интересно. Как, например, ты увидел «Охотск»? Облик судна передан тебе телевидением? Об этом надо подумать. Не природный ли здесь феномен порядка того, как медузы чувствуют шторм, бабочки — присутствие друг друга через преграду? То же и с передачей изображений на расстояние. Есть над чем поразмыслить... А что мне подсказало гипотезу, знаешь? Пушкинское стихотворение. Узник вместе с орлом — и через орла — видел белеющие снегами горы, синие морские края».

Заканчивал Леонид письмо так:

«Извини, что я на тебе поставил эксперимент с чайками. Только ты мог мне в этом помочь. Считаю себя соавтором открытия».

И в последних строках:

«Приезжай. Тут встал вопрос об экспериментальной станции рисоводов. Нужен специалист. Рекомендую тебя. Так что отказаться не можешь».

День ото дня не легче! Август, уборка, а тут забота: ехать или не ехать? Как ехать — семья, работа? Хожу взволнованный, а сны так и лезут в голову. Борька не отстаёт ни на шаг и уже не спрашивает ни о чем, а только:

— Поедем?..

Отмахиваюсь:

— Не до тебя!

А он опять:

— Па-ап...

Леониду ответить надо. После письма пришла те-

леграмма: «Место специалиста держат. Давай согласие».

Старший сын, Вячеслав, вернулся из турпохода. Собираю семью за столом:

— Поедем?

Борька в ладоши, Вячеслав: «С удовольствием». Жена:

— А дом? Обжитой наш угол?..

Опять забота: мужская половина — за, женская — против.

Убеждаю, из кожи лезу, Леонид на Курилах ждет. Наконец отвечаю на телеграмму:

«Ветра свист и глубь морская — жизнь недорого!..»

Ленька знает слова этой старой пиратской песни.

В последний день августа распашиваю клетку:

— Летите!

Птицы вырываются сразу. Провожаем мы их семьей — стоим, запрокинув головы кверху.

Зорька только что занялась. Сделав несколько кругов над домом, птицы берут направление на восток.

— Судьба! — говорит жена и вздыхает.

В октябре я рассчитался с работы, продал отцовский дом и, погрузив пожитки в контейнер, заказал для себя и для семьи билеты на океан.

## СНЫ НАД БАЙКАЛОМ

Варе и Константину Байкал открылся не сразу. Ракета мчала по водной глади к Шаманскому Камню — о нем Варя и Константин слышали еще на пристани. Справа и слева шли берега водохранилища. Правый был горный. Ракета теснилась к нему, срезая вершины отраженных холмов, положенные на зеркало. Гигантское волшебное зеркало. Местами, не замутненное рябью, оно лежало чистым и синим. Местами лилось серебром — там, где ветер касался поверхности. Ближе к

берегу было темным от скрытых под ним глубин. И где-то Шаманский Камень, Байкал. Проедем Камень, говорили на пристани, и сразу Байкал, не пропустите.

Варя и Константин стояли у лобового окна, смотрели. Выйти на палубу невозможно. Колючий ветер пронизывал, путал волосы. За ракетой вставала стена брызг, водяной пыли. Мгновенно заочеченные, Варя и Константин сошли в салон и прочно заняли место у смотрового окна. За ними толпились еще несколько человек, глядели через их плечи. Может быть, тоже хотели впервые увидеть Байкал, может, влюбленные в Ангару или — так же, как Варя и Константин, — друг в друга.

— В июне Байкал цветет, — сказал кто-то за спиной Вари.

— Камень! — тотчас сказал другой, и Варя и Константин увидели в нескольких метрах по борту черный, облизанный водой камень, который мгновенно ушел назад.

— Смотрите! — Пассажиры прильнули к окнам.

Но Варя и Константин смотрели вперед — в простор.

Они обосновались в местной гостинице. Бросили вещи и выбежали к Байкалу. Как подъезжали к Листвяному, вышли на пристань — промелькнуло минутой. Может, и в самом деле минута? Ракета не рыбачий баркас: посадка пассажиров, выход проходили стремительно, как бег могучего корабля. И то, что промелькнуло перед глазами Вари и Константина, огромное, синее, и что называли «Байкал!», просто не уместилось в глазах. Захлестнуло, утопило, и теперь требовалось время, чтобы прийти в себя.

Но прийти в себя было не просто пережить восхищение. Варя и Константин это поняли: Байкал надо впитывать постепенно, неторопливо, вместе с воздухом, ветром, с блеском и синевой. И, наверное, молчаливо. Сейчас, выйдя на берег, они стояли у самой воды. Зеркало — Байкал тоже волшебное зеркало — светилось

перед ними, трепетало биением частых волн, голубело, синело, где-то вдали переходило в лиловое, уходило в туман, скрывавший далекий берег, и от этого было бескрайним. Казалось, можно ступить на него, идти, и никуда не придешь — растворишься в дали, в свете.

— Костя! — Варя сжимала мужчине локоть.

Константин смотрел, может, не слышал.

Варя поняла, что не надо никаких слов.

Завороженные, они пошли по берегу.

Не замечали лодок, причала — глаза их глядели дальше. Не слышали говора идущих навстречу людей, какое им дело?

Поднялись по берегу и здесь — позади лес, впереди простор — сели среди камней.

День был ослепительно-яркий, словно нарочно родившийся, чтобы посветить Варе и Константину солнцем, синевой, ярким набором красок: желтые скалы, зеленый лес, серебряные гребешки волн, белые космы тумана, скрывавшие дальний берег. И еще прибавить к этому блеск. И прибавить воздух, до невидимости прозрачный. И запах сосен, воды, цветов.

— Костя, — сказала второй раз Варя, — сколько будем молчать?

— Да, — отозвался мужчина.

— Тебе не хочется петь?

— Нет, — ответил Костя. — Зачем?

— А мне хочется.

Мужчина подумал, ответил:

— Пой.

Варя посмотрела на него, склонив голову.

— А не будет ли это... — Она не договорила.

— Чем? — спросил Константин.

— Диссонансом.

— Не пойму тебя, — признался Костя.

— Ты ничего не слышишь? — спросила Варя.

— Нет. А ты слышишь?

— С тех пор, как мы проехали Камень...

Мужчина ждал, пока кончится фраза.  
— Я слышу музыку, — сказала Варя.  
Константин засмеялся, привлек Варю к себе.

Варя имела редкую профессию — нейрехимик. Новая наука делала первые шаги в области интенсификации работы мозга, воображения. Варя сама обладала фантазией, пылким воображением. Считала — эти качества свойственны всем людям, искала пути к их пробуждению, к художественному обогащению человека.

— Костя, — говорила она, когда первый восторг прошел, когда они привыкли к Байкалу, влюбились в него, стали его частью и не мыслили без него жить... — Хочется необычайных вопросов, необычайных ответов. Все здесь необыкновенное, Костя. Даже травинка, крапива — она совсем не такая, как у нас под Орлом.

Они приехали из центра России — страны тихих утр, спокойных вечеров и неярких красок.

— Даже камень, — продолжала Варя, держа в руке бурый с желтизной камень, — что в нем, скажи? Я слышала, что здесь, в Лимнологическом институте, позвонок плезиозавра. Может, в этом камне его тело, мозг? Ну ладно, плезиозавр — это очень давно. Есть более близкие события, люди. Они проходили здесь, жили, мечтали и ушли навсегда. Неужели так просто: прийти — уйти? Не верю, что после людей ничего не остается. От плезиозавра и то позвонок... А я хочу, Костя... хочу видеть перед собой что-то или кого-то сейчас. Хочу слышать голоса, речь. Это не смешно, нет?

— Говори, — сказал Костя.

— Хочу, — продолжала Варя, — закрыть глаза и представить ярко кого-то из этих людей. Ты хочешь?

— Хочу.

— Помечтаем. Но помечтаем необычайно, здесь все необычно. Пусть и наши мечты будут необычайными.

— Интересно... — заметил Костя.

— Не смейся. Я ведь работаю над этим. Я хочу, чтобы ты помог мне.

— Чем смогу...

— Сможешь! Сможешь! Я слышу музыку. Но это потом, Костя. Я хочу видеть. Давай видеть!

— Ты мне внушаешь?

— Думай, что хочешь, но помоги мне.

— Как?

— Настройся на мою волну. На мое видение.

Костя невольно закрыл глаза, сосредоточился.

— Я вижу берег, берег, — между тем говорила Варя. — Дорогу... Ты видишь, Костя?

Константин не открывал глаз, углубился в себя, в подсознание.

— Дорогу, — повторяла Варя. — Берег...

Костя увидел дорогу, берег. Дорога была ухабистая, проселочная. Берег Байкала. Варя говорила что-то еще, но Костя не слушал. Не открывая глаз, заинтересовался дорогой. И тем, что на дороге происходило.

Медленно — лошади плохо тянули, отмахиваясь от оводов, — по дороге двигался тарантас. Возница, в зипуне, в стоптанных сапогах, дремал, еле удерживая в руках кнутовище. Ременный кнут соскользнул, тянулся по земле рядом с колесом. Сбоку от возчика, поставив ноги на жестяную ступеньку, сидел человек с бледным лицом, в пенсне, с небольшой аккуратной бородкой. «Чехов!» — узнал Константин. Тарантас проезжал медленно, и, кажется рядом, Константин успел хорошо рассмотреть лицо Антона Павловича, задумчивое, усталое, печальный взгляд, скользнувший по Байкалу, по берегу и, кажется, по нему, Константину, — на миг они встретились глазами, зрачки в зрачки. Это было так реально, близко, как будто Костя заглянул в лицо писателю, наклонившись к нему. У Константина мелькнула мысль что-то сказать Антону Павловичу, поздороваться. Усталые глаза все смотрели, ждали чего-то, от этого взгляда Константину стало невыносимо, он попытался

отвести глаза и услышал, — будто издалека — голос Вари:

— Я тоже не могу. Уйдем, Костя...

Наверно, они ушли, может быть, отвернулись, потому что тарантас, возница и Чехов исчезли, а картина переменилась.

Теперь был другой берег, дикий, лесистый, ели подступали к воде. Байкал неспокоен, набегала волна, ветер срывал, раздувал пену. Здесь же между камней шархалась на волне большая пузатая бочка. Человек, вошедший по пояс в воду, укреплял жердь, воткнув ее толстым концом внутрь бочки. Бочка прыгала, словно пыталась вырваться из рук человека, но тот, мочалом охватив бочку возле обруча, обвязывал жердь и крепил узлы. Тут же, закончив крепление жерди, придерживая концы мочала рукой, он нагибался к воде и, когда волна отходила, хватал со дна у себя под ногами камни, бросал в бочку.

Константин, казалось, стоял тут же, на берегу, видел покрасневшие от холода, исцарапанные руки, хватавшие камни, бородатое ожесточенное лицо человека, котомку, болтавшуюся у него за спиной. Но вот камни набросаны, бочку стало меньше болтать, человек, навалившись на край, перебросил в бочку ногу, другую, повернулся на животе, оказался внутри. Бочка погрузилась наполовину, зато обрела устойчивость. Человек скинул с плеч котомку, армяк и, зацепив его одною полой за верхний край жерди, другую полу тем же мочалом привязал к бочке. Ветер надул армяк пузырем, и бочка тронулась от камней. Мужчина удовлетворенно взглянул на берег, Константину показалось — ему в лицо, — и, подув на озябшие руки, на миг скрылся в бочке совсем. Появился снова, опустил треух, поглядел на воду, на далекий, чуть видневшийся противоположный берег, перекрестился.

Бочка отошла от камней. Тут же ее подхватило волной, выкинуло на гребень, армяк затрепетал на ветру,

готовый сорваться с жерди. Мужчина вцепился в него, скорлупка вырвалась на простор и, успокоившись, поплыла.

— Доедет, — сказал Константин.

— Доедет, — отозвалась рядом Варя, и все исчезло.

Они сидели на скале в свете дня. Шумели позади сосны, Байкал горел синим, солнце пылало.

— Что это? — спросил Константин, встряхивая головой. — Гипноз?

Варя ответила:

— Мы там были.

Некоторое время они молчали. Константин, все еще не пришедший в себя от виденного, искоса поглядывал на подругу. Варя была спокойна.

— Можешь ты, наконец, объяснить? — спросил Константин.

— До конца не могу, — призналась Варя.

— Так что же это?

— Просто мы были там.

— В прошлом?

— В прошлом.

— Темнишь или выдумываешь...

— Нет, Костя, — Варя обернулась к нему. — Ты ведь знаешь о моей специальности — нейрохимии: работа с мозгом, воздействие на подсознание человека. Тут я в своей тарелке. А вот со временем... Здесь много неразрешенных вопросов.

Костя был инженером Орловского приборостроительного завода, знал механику, электронику. О времени имел смутное представление, кто из нас имеет в нем очерченное понятие? Ему оставалось слушать подругу.

— Передвигаться во времени физически, — продолжала Варя, — сегодня мы не умеем. Может, когда-то в будущем... Но то, что было в природе, что будет — несомненная реальность. Увидеть прошлое, будущее воз-



можно. Скажи, — обратилась она через секунду, — чувствовал ли ты в первой картине зной, слышал ли звон тарантаса?

— Нет, — сказал Константин.

— И во второй мы не чувствовали холода, ветра. Физически мы там не были, сидели здесь, на берегу. И все-таки мы там были. Было наше сознание. Это значит, что при определенных условиях: желание, душевный настрой или еще что-то, неоткрытые возможности мозга, — мы можем свои впечатления оторвать от себя, пустить в путешествие.

— Во времени?

— Да.

Константин помолчал.

— Это не выдумка, — заговорила Варя. — Все происходит на определенном этапе развития науки, техники. Теория относительности, теория атомного ядра — все пришло в свои сроки. Теперь вот первые шаги в завоевании времени.

— Интересен механизм... — заметил Костя.

— Механизм пока что необъясним. Может быть, сгусток мысли, какой-то слепок, биополе, может, субстанцируются желание, воля. Но часть нашего сознания может передвигаться во времени. Вспомним об оракулах, о ясновидении — ведь это с древнейших веков!.. И кто знает, может, из будущего наблюдают за нами, изучают поступки, и в истории для них нет никаких загадок.

Костя поежился.

— Мы пока что глухи в тех эпизодах, которые нам открылись. Но, возможно, научимся читать, разгадывать мысли, мысли других эпох, научимся слышать звуки и тогда узнаем, о чем думал Чехов в какое-то мгновение, которое где-то материализовалось, услышим стук тарантаса и шорох ветра...

— Почему мы увидели именно эти картины, Варя?

— Их сохранил Байкал. Ничто не пропадает в ми-

ре бесследно. Может, прошедшее впитано глубиной вод, скалами, может, оно существует в потоке времени. Представь нескончаемый поток, — глаза Вари блеснули от возбуждения, — себя в потоке. Позади — прошлое, впереди — будущее. При каких-то условиях можно передвигаться по этой реке — вырваться вперед, повернуть назад. Так же, как по лучу звезды. Луч материален. Когда-нибудь научимся передвигаться по нему, как по рельсу. Грубо? Но в принципе возможно, не отрицаешь? Так и время материально. Больше, Костя: время как поток энергии. Именно это — река энергии — движет в природе все, от развития клетки до светимости звезд. Звезды живут, пылают и греют за счет этой энергии. Это уже не поток энергии — океан! Нельзя еще построить парусник, чтобы двигаться по океану. Но ведь нельзя взять в руки и атом. Мысль, воля — вот что будет кораблем для людей. Мы с тобой только что приоткрыли краешек...

— Все это понять нелегко, — задумчиво сказал Костя. — И принять.

Варя кивнула головой, соглашаясь:

— Что дается человеку без труда?

— Можно увидеть другое? — спросил Костя, возвращаясь к своему первому вопросу.

— В другом месте другое.

Костя секунду помедлил:

— Жаль, что мы не можем слышать...

— Первое кино, — ответила Варя, — тоже было немым...

— Да, — согласился Костя, — немым. Но потом его озвучили!

— Озвучили, Костя. Ты меня понял.

Варя поднялась на ноги. Пошли над Байкалом. Тропка, выбитая множеством ног, поднималась на пригорки, спускалась. Сколько людей проходило здесь! Сколько на берегах Байкала жило! Мечтало, трудилось, делало открытия? А сам Байкал не открытие?

— Костя! — Варя сворачивает с тропы, по крутизне они спускаются на берег. Зачерпывают ледяную воду, прозрачную до полной невидимости, плещут в лица. — Хорошо, Костя!

Были в Лимнологическом институте. Узнали, что Байкал — слово до сих пор не разгаданное: богатый рыбой, полный огня... Узнали, что Шаманский Камень действительно шаманский: когда-то шаманы устраивали там колдовские пляски. Камень был больше. Сейчас, когда уровень зеркала поднят плотиной водохранилища, камень ушел под воду, видна только его вершина. Красивое слово «Ангара» означает «пасть», «прорва»... Видели позвонок плезиозавра — окаменелый, желтый от времени, обломанный по краям. Беседовали с научным сотрудником института, и все хотелось спросить: что самое необычайное на Байкале? Спросили, и сотрудник ответил:

— В июне Байкал цветет...

Признались, что слышали эту фразу. Сотрудник сказал:

— Поднимайтесь на скалы выше утром и вечером.

И теперь Варя и Константин вставали до зорьки и, взявшись за руки, бежали на скалы.

Увидели то, что надо было увидеть.

Озеро светлело вместе с зарей. Голубые крылья опускались на воду, лиловые, синие, стлались на поверхности, совмещались, дышали и трепетали. Солнце добавляло им розового, красного, пригоршни золота, небо купалось в озере. Отражение облаков и гор тоже. Вместе с солнцем Байкал вспыхивал изнутри зеленью вод, фиолетовой глубиной. Опять все это совмещалось, дышало. Белизна тумана бродила над озером там и здесь, солнце прогоняло туман, и все краски, оттенки красок приобретали первозданные цвета, теплоту.

— Вот откуда музыка, Костя, слышишь?

Костя слышал плеск волн у берега, шорох леса.

— Не то! — говорила Варя. — Хочешь, я тебя научу слушать?

Конечно, Косте хотелось слушать.

— Оранжевая полоса, смотри, — говорила Варя, — это звук виолончели. Красная — рокот фагота. Всплески солнца на поверхности — звуки фанфар. Голубые полосы — флейты. Слышишь теперь?

Байкал не только цвел, но звучал. Это была волшебная цветомузыка. Костя слышал огненный звук трубы, желтые напевы валторны. Он сжимал руку Вари, а Варя слушала и смеялась.

— Помечаем? — говорила она.

Садились на скале, закрывали глаза.

— Город... — говорила Варя.

Они видели город — белый прекрасный город с просторными площадями, улицами.

— Северобайкальск!..

Город еще только строился — конечный пункт Байкало-Амурской железной дороги, а они, Варя и Константин, видели его построенным — светлым, прекрасным.

— Будущее? — спрашивал Костя шепотом.

— Будущее, — отвечала шепотом Варя. — Завтрашнее.

Ездили в Большие Коты, смотрели гидробиологическую станцию, заповедник местной байкальской флоры. «Не срывайте цветы!» — просило объявление на щите. Варя и Константин смеялись трогательной наивной просьбе и уходили в лес, в лес и там мечтали и целовались.

— Ты мое открытие, — говорил Константин. В последние дни перед отъездом он засиживался над чертежами. — Ты мне дала порыв.

Варя склонялась над его плечом, заглядывала в чертеж. Костя чувствовал ее теплоту.

— Мысль материальна, — продолжал Константин. — Пусть она облако электронов, плазма. Ее можно ощутить и поймать. Это, — показал на чертеж, — контур, усилитель. Как ловят волну на радиоприемнике, так мы обнаружим — в прошлом или в будущем, все равно, — и расшифруем мысль.

Костя смотрел Варя в глаза. В них была глубина. И еще ожидание. Косте было трудно браться за новую тему, замысел, который он хотел воплотить. Поймет ли Варя?

Варя спросила:

— Материализовать мысль? — Она умела находить точные слова.

— Оживить, — подтвердил Костя.

Глубина в глазах Вари становилась ближе, светлее. В глазах можно было прочесть: я же не связана с техникой, Костя, милый...

— Я тебе помогу, — сказал Константин. — Ты открыла новый мир, осваивать его будем вместе.

Варя согласно кивнула.

— Контур, — вернулся к чертежу Константин, — антенна, приемник... Можно сделать в виде шлема или короны.

— Согласна, — сказала Варя.

— Прошрое, будущее оживет перед нами.

Варя соглашалась.

— Перед человечеством, — уточнил Константин.

Варя поглядела в окно. Байкал был как в день их приезда: голубое, лиловое уходило в туман, скрывавший далекий берег. Казалось, можно ступить на зеркало, идти и раствориться в дали и в свете.

Позже, на берегу, они обсуждали тему.

— Есть моральный аспект открытия, — говорила Варя. — Ты с этим считаешься?

— Читать мысли? — отвечал Костя. — Да, тут, конечно...

— Надо подумать.

— Думал, Варя, и вот что скажу.

Они сидели на своем любимом месте, на скалах.

— Для прошлого это неопасно, — продолжал Костя. — Прошрое — это история. Тут ничего не изменишь, разве что уточнишь. Деятельность народов, их страсти, перемещения, воли тысяч и власть единиц... Будут раскрыты тайны минувшего...

— А для будущего?

— В будущем знают об этом. Будущее лучше и чище. Согласна?

Варя сидела задумавшись.

— Все новое кажется странным, даже опасным, — продолжал рассуждать Константин. — Расщепление атома, робототехника — все это ниспровергало что-то и в то же время двигало науку вперед.

— В разумных руках, — заметила Варя.

— Обязательно, — согласился с ней Костя. — В большинстве так это и есть. Телескоп Галилея ниспроверг церковь и инквизицию. Паровая машина открыла промышленную революцию, кибернетика — научно-техническую революцию. Теперь наступил черед мыслетехники и покорения времени. И все это, заметь, дисциплинирует человечество, делает его более умным.

Варя вздохнула, заговорила о другом:

— Иногда мне кажется, что Чехов, беглец в омулевой бочке, город за горизонтом — многое, что нам еще удалось увидеть, — сны. Разбуди меня, Костя.

— Сны тоже станут подвластны людям, — ответил Костя, обнял Варю за плечи. — Стали...

Варя спрятала лицо у него на груди, сказала:

— Нам осталось на Байкале два дня. Помечтаем...

Уезжали они вечером автобусом на Иркутск по недавно проложенному шоссе. Байкал, Ангара, Шаманский Камень оставались слева, уплывали назад. Солнце садилось, все было тихим, задумчивым.

— Грустно... — сказала Варя.

— Уезжать всегда грустно, — ответил Костя, — но мы вернемся.

Автобус бежал. Варя и Константин все смотрели, смотрели на Ангару, водохранилище, Шаманский Камень, все равно на Байкал, потому что и то и другое было частью сибирского славного моря.

— Обязательно мы вернемся! — повторил Константин.

Впереди ждала работа, борьба за открытие, и в этом им помогут — Варя и Константин не сомневались — цвета Байкала, музыка, их надежды и сны.

## ХРОМОСОМЫ СУДЬБЫ

### ФЛЕТЧЕР И КРИСС

Фирма по предсказанию будущего!

Все, что Вас ждет, —  
счастье, успех, любовь, —  
узнавайте у Флетчера и Крисса

По сходным ценам:  
будущее на месяц вперед — 1000 долларов,  
на год — 5000, на десять лет — 100 000 долларов.

Единственный в своем роде метод  
научного прогнозирования,  
основанный на футуроскопии.

Надежно, безболезненно, быстро!  
Обращаться на Блэйк-авеню, 17.

Листок с объявлением слегка дрожит в руке Флетчера.

— Как цирковая программа, — говорит он. — Есть

суть и цена билетов. Ты всегда отличался цветистостью стиля, Дэвид.

Объявление — коллективное творчество двух компаньонов, хотя большее старание при его сочинении приложил Крисс — натура пылкая, но, по мнению Флетчера, неглубокая.

— Впрочем, так и надо. — Флетчер продолжает рассматривать объявление. — Людей надо сбить с толку, повести за собой. Мы поведем их, Дэвид, не сомневайся. Не пройдет недели — к нам повалят лавиной. Доллары, черт возьми! — Он потряс листом перед носом Дэвида. — Это же доллары!..

— И наука, — пытается добавить Крисс.

— К черту науку! Хватит, что полжизни убито по чужим лабораториям внаймах. Надо пожить для себя. Миллионы долларов, Крисс!..

Идея фирмы принадлежит Флетчеру. Он уже сейчас, хотя еще фирма ничем не зарекомендована, чувствует себя ее руководителем и главой.

— Объявление я сейчас везу в «Вечерний курьер». А завтра, Крисс, ждем посетителей. Помещение у нас, — Флетчер оглядывает приемную: круглый стол посередине, пальму в кадке возле окна, два кресла (в них сидят компаньоны), — ничего помещение, — делает вывод Флетчер, — на первый случай. Разбогатеет, тогда развернемся. Было бы ТАМ, — Флетчер кивает на дверь в лабораторию, — был бы ОН, Крисс, а все остальное будет!

За дверью, в лаборатории, футуроскоп. О нем и говорит Флетчер.

— Мир ахнет, Крисс, и ляжет у наших ног. Но прежде мир засыплет нас долларами!

Флетчер возбужден, как гончая, завидевшая добычу. Крисс с удивлением отмечает эту новую черту в характере компаньона. Странно звучит — компаньоны. Это слово появилось у них с неделю тому назад. Выпускники Иельского университета, четыре года отработавшие



в лаборатории профессора Кинга, они знают друг друга десяток лет. Флетчер старше Крисса на семь лет, но и Криссу уже двадцать восемь. Конечно, им было нелегко в университете у Кинга. Нелегко было делать открытие, таясь от шефа и работая по ночам. Только благодаря страстности Крисса, сдержанности и даже скрытности Флетчера открытие доведено до конца, построен футуроскоп.

— Я поехал! — Флетчер свернул листок с объявлением и спрятал его в карман. — Вернусь, когда объявление будет напечатано.

Оставшись один, Крисс проходит в лабораторию. Здесь две узкие железные кровати, отгороженные высокой ширмой, решетчатое окно, по договоренности кто-то из компаньонов должен оставаться у аппарата. На стене белый экран, посередине футуроскоп с небольшим пультом и разноцветными кнопками.

— Футуроскоп...

Два года Крисс не может привыкнуть к названию. Однако никакое другое слово не передаст полнее сущность прибора. «Смотрю будущее...» Прибор, с помощью которого можно увидеть будущее. Название пришло так же неожиданно, как и мысль о том, что можно читать судьбу. Мысль пришла ему, Криссу. Техника осуществления принадлежит Флетчеру.

Читать судьбу. А что в этом удивительного? Расшифрован генетический код, познаны законы наследственности. Кошка рождает котят, тигр вырастает полосатым, жираф длинношеим. У человека две руки и два глаза, волосы у негра курчавятся, у китайца вырастают жесткие, как солома. Признаки особи, устойчивости и даже цвет глаз запрограммированы в ниточках хромосом, и нуклеиновые кислоты, группируясь, как буквы в словах, определяют развитие организма. Все это так, все доказано. Но открываются новые горизонты. Русский академик Курсаков открыл, что нуклеиновая кислота ДНК, составляющая основу генетического аппарата клетки, в

каждый данный период развития организма заблокирована на восемьдесят-девяносто процентов особыми белками — гистонами, которые подобно изоляционной ленте закрывают большую часть нити ДНК. Более того, отмечает Курсаков, генетический аппарат содержит в себе больше информации, чем нужно для развития данного организма. Этот «запас биологических возможностей» прочно закрыт и чаще всего не реализуется клеткой. Почему? — можно поставить вопрос. Можно поставить много вопросов.

Для того чтобы предположить, что наряду с наследственной информацией хромосомы содержат информацию будущего для организма, говоря проще, судьбу, оставалось сделать один шаг. Крисс этот шаг сделал. Поначалу это была гипотеза, одна из тех сумасшедших гипотез, которыми изобилует наше время. Почему не предположить, сказал Крисс, что в клетке наряду с развитием особи запрограммирована ее судьба? Из тысячи разных ситуаций, которые предложит жизнь, человек с данным набором хромосом выберет именно такие действия, которые характерны только для него... И почему не предположить, что вместе с генетическим кодом, проектирующим в будущее конструкцию организма, не разворачивается в свитке хромосомы и судьба человека со всеми ее поворотами, превратностями, счастьем и болью, творчеством, каждым словом, которое будет сказано на протяжении жизни?.. Удивительно? Эфемерно? Не более удивительно, чем запрограммированные в генетическом коде веснушки на переносице и разрез ваших глаз.

Где было ее искать, закодированную судьбу? Записанную на ленте гистонов? Или в таинственных «запасах биологических возможностей»? Академик Курсаков пишет, что эти возможности не реализуются. А если «запасы» реализуются по-другому и в новом качестве?

Четыре года, тася и недосыпая, компаньоны исследовали проблему. И вот создан футуроскоп.

Откровенно сказать, Флетчер и Крисс не знают, как открытие далось в руки. Механизм расшифровки до сих пор остается неясным. Электронную вязь генетической ленты удалось преобразовать в фотоны, давшие на сетчатке глаза изображение. Позже изображение было перенесено на экран. Нужна живая клетка из организма. В футуроскопе она разрастается до размеров материка, на котором прослеживается судьба человека. Можно включиться в любой участок прошлого или будущего, пропустить перед глазами жизнь человека с быстротой кинематографической ленты. Процесс удалось озвучить.

Странное это было открытие, даже страшное. Флетчер и Крисс проследили судьбу нескольких человек: один погиб в автомобильной катастрофе, второй был застрелен гангстером. Застрелен Уитворт, сотрудник лаборатории Кинга. Убийство произошло на лестнице, когда Уитворт столкнулся с грабителем, вышедшим из квартиры. Смотреть на это было ужасно. Еще ужаснее, что спустя несколько дней преступление совершилось в тот час и в ту минуту, когда было предсказано футуроскопом.

— Никогда, — сказал потрясенный Флетчер, — не разрешу себе увидеть свою судьбу! Никогда!..

Крисс был потрясен не меньше Флетчера.

— Но бизнес мы на этом сделаем, — продолжал Флетчер. — Обязательно сделаем!

Бизнес они уже начали делать. Основана фирма. Написано объявление. Криссу кажется, что все это немного скоропалительно. И немного не так. Не с того они начали. Докопаться бы до основы футуроскопии. Но Флетчер торопит: «Потом, Крисс, потом. Заработаем, откроем лабораторию, институт — все что хочешь. Ничего без денег не сделаешь...»

Часы показывают девять с четвертью вечера. «Курьер» в продаже появляется в восемь. Наверно, Флетчер уже по пути в лабораторию. Вот и звонок.

— Завтра мы богачи, Крисс! — Флетчер протягива-

ет компаньону пачку газет. — Завтра к нам хлынут лавиной!

Ни завтра, однако, ни послезавтра на Блэйк-авеню никто не приходит. Когда Крисс поглядывает на Флетчера, тот говорит:

— Через неделю, Крисс. Через пять дней...

На четвертый день пришел тощий студент. Компаньоны встретили его оба.

— Добрый день, — сказал он и показал на объявление: — Ваше?

— Наше, — ответил Флетчер.

— И это правда? — спросил студент.

— Что вы хотите? — ответил вопросом Флетчер.

— У меня экзамены, — сказал студент. — Сдам я или не сдам?

— Тысяча долларов, — сказал Флетчер. — Читали объявление?

— У меня только двадцать пять, — признался студент. — И те последние.

— Не можем помочь! — отрезал Флетчер.

Крисс толкнул его в бок:

— Первый почин...

— Тысяча долларов, — настаивал Флетчер.

— Джеймс... — опять толкнул его Крисс.

Студент стоял в ожидании.

— Платите, — сдался Флетчер, — наличными.

Студент извлек из кармана несколько смятых бумажек.

Крисс взял у него кусочек кожи с плеча. Флетчер скрылся в лаборатории.

— Когда мне прийти? — спросил студент.

— Сейчас будет готово.

В лаборатории тонко запел футуроскоп.

— Как вы додумались?.. — спросил студент.

Крисс не ответил. Студент по его знаку сел в кресло.

Через минуту в приемную вошел Флетчер.

— Экзамены вы сдадите, — сказал он студенту, —

если будете заниматься. Особенно по курсу аналитической химии.

— Моя слабина... — признался студент.

— С профессором Форбсом будьте вежливы, — добавил Флетчер. — Не вступайте с ним в пререкания, как на прошлом экзамене. Помните, чем это для вас кончилось?.. До свидания, — сказал он, не давая студенту открыть рта.

Пятая, тот вышел из приемной с видом величайшего замешательства. Двадцать пять долларов остались лежать на столе.

У Крисса было такое чувство, что они с компаньоном ограбили нищего.

После студента пришли другие. Старая леди — узнать, вернется ли ее сын из альпинистского похода в Бутан. Депутат — будет ли переизбран на второй срок. Футурограмма леди была положительной: с сыном ей предстояла встреча. Депутат будет забаллотирован.

— Как вы сказали? — спросил он Флетчера.

— Победит Фергюссон.

— Республиканец?

— Да, сэр, республиканец.

— Это все козни Стаффорда... — ворчал депутат, направляясь к двери.

В банке был открыт счет, общий для Крисса и Флетчера.

— Идут дела, Крисс, идут! — Флетчер потирал руки.

На Блэйк-авеню шли новые посетители. Больше по мелочам: одних интересовал выигрыш на биржевой спекуляции, других тотализатор, третьих карьера. На компаньонов смотрели как на хиромантов, астрологов — мало ли на свете шарлатанов, гадалок? Футуроскопия? Ну и что? Есть электроника, есть кибернетика, электронные свахи... То же и футуроскопия: модный, ультрасовременный термин, не больше. Ученый мир не интересовался деятельностью Крисса и Флетчера. Фирме, от-

кровенно сказать, это было на руку. Банковский счет разбухал. Флетчер ходил довольный:

— О'кэй!

Однако между компаньонами назревал разлад. Криссу хотелось знать, как и где записан код человеческих судеб, можно ли повлиять на запись. Крисс задумывался над моральным аспектом изобретения. Причины к этому были. Их становилось все больше.

Ссора между компаньонами вспыхнула после самоубийства генерала Макговерна.

Генерал появился в приемной перед отъездом в Южный Вьетнам, где должен был руководить сражением под Гуэ. Он имел разработанный ведомственный план.

Флетчер сказал ему:

— Сражение будет проиграно.

— Это вы говорите точно?.. — спросил генерал.

— Фирма не бросает своих прогнозов на ветер.

Макговерн застрелился в машине по дороге в аэропорт. Радио и газеты обсуждали самоубийство, доискивались причин.

— Мы убили его, — сказал Флетчеру Крисс.

— Почему убили? — возразил тот.

— Сказали, что сражение будет проиграно, и он покончил с собой.

— Он спрашивал о сражении, не о себе. В этом вся разница. Сражение будет проиграно без него.

— Флетчер!..

— Крисс! Не путай личную судьбу и события. Я знал, что генерал покончит с собой. Но я не сказал ему об этом.

— Почему?

— Он не спрашивал.

— И все же...

— Не будь сентиментален, Крисс. Я не мог ему сказать, что он застрелится, как не мог предотвратить самоубийства. Футуроскоп показал, что он застрелится. И он застрелился.

— Потому что не выиграет сражения.

— Он не мог его выиграть. Он же не поехал во Вьетнам, он застрелился! Пойми: он должен был прийти к нам, должен был узнать, что сражение кончится неудачей, должен был застрелиться. Таков его путь.

— И все же это ужасно, Флетчер! Надо остановиться. — Крисс кивнул в сторону футуроскопа.

— А деньги?

— Деньги мне не нужны.

— Мне нужны, Крисс. И давай прекратим спор.

Через два дня произошло еще самоубийство. Закончила с собой киноактриса Лиз Стейнвилл: футуроскоп предсказал, что ей не дадут главную роль в фильме «Над пропастью» по книге Вильгельма Либена «Отречение».

Две смерти — генерала и киноактрисы — поставили перед Криссом вопрос: что такое время и что такое судьба и как они связаны между собой.

Есть два времени — прошедшее и будущее и между ними грань — настоящее.

Прошедшее дано нам в видении и в воспоминаниях. Мы видим его как дорогу, которую прошли и которую второй раз пройти нельзя. Оно прочерчено линией, за пределы которой мы не могли сделать ни шагу. В каждый момент жизни, когда мы стояли перед настоящим, нам открывалось бесконечное множество линий, но мы выбирали одну — ту самую, которая теперь прожита. Вспомните: когда вам нужно было выбирать университет, вы могли выбрать Колумбийский, Чикагский, но вы выбрали Иельский. Почему? Не потому ли, что ваша дорога жизни — судьба — так же закодирована в хромосоме, как ваш рост, цвет волос и форма ногтей?.. Изменить ничего было нельзя, как нельзя одновременно двигаться в нескольких направлениях. Из бесконечного числа вариантов выбран один, на всех остальных лежит зыбкое (вы все же могли выбрать), но властное табу: выбрали вы одно.

Так же и с будущим. Оно открыто перед вами в бесконечном числе возможностей: вы можете ехать в порт или в аэропорт, лететь на Гавайи, в Европу, но сделаете одно — то, что вам предстоит сделать. Почему? Не запрограммировано ли будущее в вас так же, как уже пережитое прошлое?.. Еще более интересна та грань между прошлым и будущим, которую мы зовем настоящим. Это миг, атом. И это между тем акт творения. Именно в этот момент мы выбираем и делаем единственный шаг — тот, который определен нашей судьбой. Присмотритесь: даже в этот миг мы не вольны в себе, действуем так, как нам что-то подсказывает. Назовем ли это необходимостью, целесообразностью, разумом, долгом — не имеет значения. Мы делаем то, что запрограммировано в нас. И даже если сознательно начнем метаться, ломать себя, неведомая сила, заключенная в нас самих, заставит нас стать на ту дорогу, которую нам предстоит пройти.

Прошлое дано нам в опыте, настоящее — в ощущениях. Будущее для человека темно. И как ни странно, отметил Крисс, никто не отваживается взглянуть будущему в лицо. Все заботы клиентов — о карьере, о выигрыше на скачках, даже о выигрыше сражений — были пустячными, повседневными. Никто не решался раскрыть судьбу до конца. Не потому ли, что это страшно? Перед неудачами, неожиданностями, перед смертью наконец? И Флетчер боялся увидеть в футуроскопе свою судьбу, у него это переходило в панику. «Никогда! — твердил он. — Никогда!..» И Крисс тоже боялся.

Между тем в банке на счету компаньонов было уже четыреста тысяч. С Блэйк-авеню они переехали на Аламейн-стрит, купив особняк и оборудовав просторную лабораторию, приемную, холл для клиентов.

Фирма «Флетчер и Крисс» процветала. И если бы не тягостные раздумья Крисса, Флетчеру оставалось бы только радоваться: клиентов хоть отбавляй, деньги плывут потоком.



Но Флетчер тревожился. Ему все чаще казалось, что Крисс использует футуроскоп не по назначению.

Крисс искал случай вмешаться в чью-то судьбу, отвести от человека несчастье. Случай представился. Явилась клиентка, мисс Флорен, с просьбой: удастся ли ей купить модель «кадиллака» с выставки. Ее прельстил золотистый с оранжевым цвет машины. Мисс Флорен хотела только эту машину, но у нее были соперники, Форсты и Ньюмены. Сумеет ли она опередить соперников и взять понравившуюся ей вещь. Прогноз показал, что машину она не купит: в магазине у нее украдут сумочку с чеком. Денег мисс Флорен не теряла, на чеке не было суммы и подписи, но конкуренты одерживали успех. Сумочку воровали простейшим способом: пока хозяйка отвернулась к зеркалу поправить прическу, сумка исчезала с конторки, где продавец фиксировал проданные или приобретенные в рассрочку вещи.

— Мисс Флорен, — сказал Крисс, — у вас украдут деньги.

— Как украдут? — удивилась клиентка.

— В магазине, пока вы будете покупать машину.

— Вот как! — воскликнула мисс Флорен. — Спасибо за предупреждение. Постараюсь, чтобы деньги у меня были целы.

Крисс решил пойти в магазин проверить, подействует ли предупреждение. Случай был мал, но требовался прецедент: возможно ли осуществить предупреждение на большем?

В день, когда мисс Флорен пришла в магазин в надежде сделать покупку, Крисс находился недалеко от того места, где должна произойти кража. Он видел, как мисс Флорен появилась в двери, крепко держа в руках белую сумку. По виду ее можно было судить, что она помнила о предупреждении и ни на минуту не расставалась с сумкой. Вот она протискивается вперед, она у конторки. Кто-то толкнул ей шляпу — все было точно, как показал футуроскоп. Мисс Флорен все еще

держала сумочку, но этот незначительный инцидент в толпе, когда ей зацепили зонтиком широкополую шляпу, каким-то образом повлиял на нее, она словно стала рассеянной: одной рукой она поправила шляпу, но, видимо, сдвинула ее больше, чем надо. В этот момент она оказалась у конторки, слева от нее было зеркало. Непроизвольным жестом она потянулась к шляпе, но сумка в руке мешала ей. Не придавая никакого значения жесту и, наверно, забыв о предупреждении, мисс Флорен положила сумочку на конторку и повернулась к зеркалу. Через секунду на конторке сумочки не было.

Как ни мал и незначителен был случай, он потряс Крисса.

Когда возбуждение в магазине, вызванное внезапной кражей, улеглось и мисс Флорен, вконец расстроенная, выбралась из толпы, Крисс подошел к ней.

— Я вас предупреждал, — сказал он.

— Не знаю, — стала жаловаться мисс Флорен, — что со мной произошло. Я забыла. Я полностью забыла ваше предупреждение. Когда шла по улице, помнила. Вошла в магазин, тоже помнила.

— А потом?

— Зонтиком мне толкнули шляпу. Но сумочку я держала в руках и знала, что нельзя с ней расставаться. И надо было поправить шляпу...

Крисс внимательно смотрел на нее.

— Увидела зеркало и забыла о сумочке — надо было поправить шляпу.

— Совсем забыли?

— Н-нет... — протянула мисс Флорен. — У меня было какое-то предчувствие, беспокойство.

— Предчувствие, говорите?

— Да, да... опасение, тревога — какой-то миг. Потом я поправила волосы. И сумочки у меня не стало. Что мне теперь делать?

Крисс не знал, что было делать мисс Флорен. Но



у него складывался вывод о том, что человек в момент происшествия начисто забывает об осторожности и делает то, что заложено в программе, закодированной в хромосомах. Если бы мисс Флорен предстояло броситься под поезд, сгореть, никакие предупреждения не помогли бы ей: она бросилась бы или сгорела.

Крисс уже пришел к выводу — почему. Но у него появилась другая мысль — о полной бесполезности изобретения. «Разве что выколачивать деньги», — с горечью усмехнулся он.

Флетчер между тем без всякой горечи выколачивал деньги. В банке лежало уже восемьсот тысяч долларов.

Крисс сказал:

— Прекратим этот обман, Джеймс.

— Какой обман? — переспросил Флетчер.

— Футуроскопию, предсказания. Ничего хорошего они не приносят людям.

— Тебе какое дело, что они ничего хорошего не приносят? — спросил Флетчер.

— Мы обманываем людей! — сказал Крисс.

— Это в тебе, Дэвид,казывается пасторская закваска, — рассмеялся Флетчер. Отец Крисса был пастором из Кентукки.

— Какая же закваска в тебе?.. — резко обернулся к нему Крисс.

Флетчер уловил нотку злости в голосе компаньона.

— Брось, — сказал он, — не будем ссориться.

— Я разбил бы футуроскоп, Джеймс, — признался Крисс, успокоенный миролюбием Флетчера.

— Серьезно? — спросил Флетчер.

— Он в меня вселяет ужас... — ответил Крисс.

— Чем?

— Он и тебя пугает. Никто из нас не решается увидеть свою судьбу.

— А зачем это?.. — настороженно спросил Флетчер.

— Другим-то мы узнаем.

— Чепухой у тебя голова забита, вот что, — ответил Флетчер.

— Я разобью аппарат или сбегу из лаборатории.

Флетчер ничего не сказал — взглянул на Крисса, точно на сумасшедшего.

Крисс не разбил аппарат, не сбежал из лаборатории. Он решился на отчаянный шаг — преодолеть страх и увидеть свою судьбу. Решение пришло внезапно, как порыв ветра.

В этот вечер в лаборатории он оставался один. Флетчер ушел в кабаре, и его возвращения ожидать можно было не скоро. Вечер напомнил Криссу тот, первый, когда Флетчер унес объявление в редакцию «Курьера». Когда это было? Вчера?.. Криссу казалось, что с того вечера он еще не успел разогнуть спины, чтобы отдохнуть и подумать. Однако и устал же он... «Футуроскоп»... — нашел он причину. Все от него. Странно. Открытие сделано, испытано на сотне людей, а радости и удовлетворения никакого. Крисс чувствовал, что он несчастен, испуган. Есть, наверное, вещи, думал он, которые не стоило открывать. Ядерные реакции, футуроскоп... Или они открыты не вовремя, не принесли удовлетворения людям. «Что тебе до людей? — наверно, посмеялся бы Флетчер. — Это в тебе пасторская закваска...» Криссу неприятно от этих слов. Я устал, говорит он себе. И тут же ловит себя на другом: он боится узнать свою судьбу до конца.

Крисс подходит к окну, смотрит на улицу. «Боюсь, боюсь...» — бьется в его голове мысль, словно поддразнивает. И вдруг его словно обдает ветром: «А если?..»

Больше Крисс уже ни о чем не думает.

Вымыл руки, подошел к аппарату. Поискал глазами шприц с полой иглой. Машинально, как делал это сотни раз на других, потер спиртом кожу на левом предплечье. Машинально вонзил под кожу иглу. Тот же укол, какие мы знаем с детства... Может быть, чуть-чуть

побольше боли, побольше крови — из-под кожи нужно извлечь частицу ткани. Той же проспиртованной ваткой зажал крохотную царапину. Повременил пять-десять секунд. Привычным движением освободил иглу в нейтрализованный дистиллят пробирки, вставил стеклянную трубочку в центрифугу, выделил из плазмы кусочек ткани. Положил на стекло каплю питательного раствора, опустил в нее живые клетки своего тела и поместил все это под окуляр футуроскопа.

Включил электрический ток, повернул тумблер. На экране обозначилась группа клеток. Еще поворот тумблера — осталась одна клетка, занявшая экран. Рельефно обозначились ниточки хромосом. Крисс включил силовые поля, одновременно доведя стрелку указателя до двухтысячного года, — тридцать лет он проживет наверняка. Экран погас, превратившись в черное пустое пятно. Так бывало всегда, когда клиент не доживал до указанного на шкале срока, — пустой экран.

— Вот как... — сказал Крисс. Теперь это был не клиент — он сам.

Рывком Крисс передвинул стрелку указателя на десять лет ближе. Экран оставался темным. «Не проживу и двадцати лет...» — отметил Крисс и медленно повел стрелку влево еще на десять лет, руки его дрожали. Стрелка остановилась на 1980 годе, экран оказался темным. «И десяти лет...» — отрешенно промелькнуло в голове Крисса, руки похолодели. Он тупо глядел на цифры — может, ошибка? Но ошибки не было. Не могло быть. Случалось, что и у других клиентов на этой цифре экран оставался пустым. Тогда Крисс не волновался и руки его не холодели. Сейчас он испуганными глазами глядел на стрелку: он не проживет и десяти лет... Зачем было смотреть самого себя? Крисс жалел, что начал эксперимент. Прав Флетчер — не надо этого делать. Никогда не надо этого делать! Не проживет и десяти лет... Может быть, это не он, Дэвид Крисс? Может, случайно в объектив аппарата попала чужая клет-

ка?.. Теперь были холодными не только руки, но и спина Крисса. Холод поднимался выше, к затылку, заливал мозг. «Может, не моя клетка?..» Мысль отделялась от тела, билась самостоятельно, как птица крыльями в воздухе. «Может, не моя ткань?..» Холодный пот стекал по лицу. «...И десяти лет... и десяти лет...» Мысль-птица поднимала крыло, и тогда в мозгу Крисса звучало: «...И десяти лет...» Поднимала другое крыло — в мозгу звучало: «Не моя ткань...» А холод заливал человека всего, и капли пота текли по спине.

«Если это ошибка, — подумал Крисс, — надо сдвинуть стрелку на шкале, что-то должна же она показать». С трудом Крисс нащупал тумблер, но, вместо того чтобы двинуть стрелку вперед, пальцы не слушались его, он повел стрелку назад, бессознательно отмечая: восемь лет, семь, шесть... Экран по-прежнему оставался темным. «Не работает!..» — почти крикнул Крисс — птица-мысль взмахнула обоими крыльями. Но аппарат привычно гудел, индикаторы в темноте светились, только экран был непроницаемо-черным, как траурный креп, как беззвездная вечность. Стрелка все шла назад: четыре года, три, два... Теперь уже у Крисса не было никаких мыслей — только ужас и ожидание: неужели конец, он умрет сейчас, в эту минуту?.. Крисс втянул голову в плечи, волосы поднимались на черепе, Крисс слышал, как они шевелятся, шуршат... Стрелка неумолимо шла назад, незаметно для себя Крисс включил автоматическую подачу, стрелка отсчитывала месяцы. Это было мучительно долго. У Крисса захватило дыхание, тяжесть навалилась ему на грудь, выжимая из легких последние капли воздуха. Шесть месяцев, пять, показывала шкала, нуль!.. Вдруг экран вспыхнул. Но это был не привычный дневной свет, не утро и не вечер — экран светился зеленым, точно Крисс смотрел в толщу морской воды. И — неожиданно, невероятно! — перед глазами Крисса проплыла макрель! Теряя сознание, Крисс ударился головой о пульт, стрелка дрогнула, на

мгновение Крисс увидел листок календаря — двадцать второе августа. И еще он увидел Флетчера с перекошенным бледным лицом и злорадством в глазах — Флетчер был в лодке и удалялся к берегу. Больше Крисс не разглядел ничего — его охватила тьма.

Флетчер застал компаньона на полу у включенного аппарата, в обмороке. Прежде всего он постарался привести Крисса в сознание. Но первое, что сделал Крисс, придя в себя, запустил в аппарат мраморным пресс-папье, но промахнулся.

Флетчер схватил его за руку:

— С ума сошел?..

— Я его уничтожу! Уничтожу! — порывался Крисс к аппарату. — Гнусное, проклятое чудовище! Я размозжу его, уничтожу!..

До полуночи Флетчер успокаивал товарища. Крисс говорил много, бессвязно, обвинял Флетчера и себя в бесчеловечности, в сатанинском изобретении, грозил уничтожить футуроскоп и фирму. Чем больше Флетчер слушал его и старался понять, тем крепче убеждался, что Крисс становится опасным для него и для изобретения.

Все же им удалось поладить. Флетчер добился от Крисса, что тот не натворит глупостей.

— Успокойшься, — говорил он, — тогда обсудим, что делать. Денег мы подзаработали. Можно прекратить деятельность. Поедем куда-нибудь, рассеемся.

Флетчер лгал. Он не думал прекращать работу футуроскопа. Но и Крисс тоже лгал, давая обещание ничего не предпринимать против изобретения. Крисс не отказался от мысли уничтожить футуроскоп. Флетчеру пришла мысль уничтожить Крисса. Между компаньонами начинались маневры, но только Крисс знал, как мало времени им обоим.

А потом ведь Крисс не досмотрел судьбу до конца. Окрепнет от потрясения и досмотрит. У него подозрение против Флетчера. Если подозрение подтвердится,



Криссу надо принять контрмеры. Все надо продумать, ничего не упустить. Одним ударом он решит все: свою судьбу, судьбу Флетчера и судьбу футуроскопа. Только не торопиться. Нет, торопиться надо, ведь сегодня двадцатое августа...

Так они подходили к финишу — Флетчер и Крисс, таясь друг от друга, точно преступники.

Крисс досмотрел судьбу до донца. В обморок он не падал. Сцепил зубы и досмотрел. Подозрение подтвердилось, и Крисс знал теперь, что ему делать.

В субботу, двадцать первого августа, Флетчер спросил:

— Что ты думаешь, Крисс, насчет морской прогулки? Возьмем катер, удочки. Половим макрель.

Крисс знал, что ничего не изменишь. И эту фразу компаньона он тоже знал. Начинался конец финала — такого же, как у кинозвезды и генерала Макговерна. Может быть, Крисс хотел бы отказаться, бежать от Флетчера, протестовать, он ничего этого не сделал. Он ответил:

— Поедем.

И все пошло по сценарию. Разве наша жизнь не сценарий, написанный и утвержденный природой? Крисс знал этот сценарий и знал, что ничего нельзя изменить. Даже интонацию голоса.

— Поедем, — повторил он, прислушиваясь точно со стороны, как это звучит.

Звучало вполне естественно, Флетчер ничего не заметил.

— Часиков в девять, — сказал компаньон. — Пока я схожу за рыболовной снастью.

Наутро все шло по тому же сценарию.

— Я пошел, — сказал Флетчер. Спустился по лестнице и пошел направо, по направлению к Франклин-стрит, в охотничий магазин, там всегда можно достать лески и удочки.

Крисс вышел почти вслед за ним и направился в про-

тивоположную сторону, в другой магазин. Ему можно было не торопиться. Никакая опасность ему не угрожала, даже опасность разоблачения. Он знал каждый свой шаг и каждое действие. Было даже интересно, будто он смотрит на себя со стороны. Или на кого-то другого. За несколько минут до возвращения компаньона он уже был в лаборатории. Осторожно положил под кожу футуроскопа четыре продолговатых свертка, предварительно обмотав их проводами от вводной электросети, и, соединив провода, накоротко замкнул их. И поехал с Флетчером на рыбалку.

На пристани они взяли катер с полным запасом горючего.

— Как погода? — спросил Флетчер служителя, размыкавшего цепь, которая прикрепляла катер к причалу.

— Отличный прогноз, сэр, — ответил тот. — Можете ехать спокойно.

И это все было известно Крису до последнего слова.

Флетчер был спокоен, даже невозмутимо спокоен и уверен в себе: он знал, что Крисс не умеет плавать.

Они уехали далеко. Берег лиловой полоской виднелся на горизонте. Их не видел никто, кроме солнца и облаков. Но солнце и облака были высоко и не могли ничему помешать.

Флетчер не стал глушить мотор, оставив его работать на пустых оборотах.

— Механик из меня плохой, — сказал он. — Вдруг откажет совсем...

Начали ловить рыбу. Крисс сидел на правом борту, опустив ноги в воду. Все утро он пытался анализировать свои ощущения. Накануне он помнил, что завтра воскресенье и чем это воскресенье кончится для него. И ночью — он плохо спал в эту ночь — вспоминал, что завтра роковой день. Утром он подчинился судьбе без сопротивления — ничего не изменишь. Все шло, как показал футуроскоп. Даже то, что задумано против Флетчера, Крисс делал механически: роль была распи-

сана до конца, Крисс играл ее и двигался как статист, каждый шаг которого подчинен режиссеру. Сел с Флетчером в автомобиль, встал на пристани. Флетчер спросил о погоде так, как должно было быть. И только в лодке Крисс почувствовал, что он забывается. Море наплывало на него, вытесняя из сознания картины, виденные в футуроскопе. Если Крисс пытался вспомнить, что будет дальше, он уже не мог вспомнить, сознание угнеталось чем-то непонятным и мощным, что разрасталось в Криссе, заставляло жить только мгновением, отесняя все постороннее. Лишь в подсознании оставалось что-то похожее на предчувствие, на тревогу, но уже ничто не могло подняться оттуда, оформиться в мысли или в противодействие.

Крисс закинул приманку, чувствуя, как леса подрагивает в руке, — рыба клевала. Он уже вытащил две макрели, они изгибались и прыгали на дне лодки, еще живые. И тут борт резко накренился под ним, и Крисс оказался в воде. Тотчас взревел мотор, лодка рванулась вперед. Крисс барахтался в пене, оставленной бурлившим винтом, и, захлебываясь, кричал:

— Флетчер! Остановись!

Лицо компаньона удалялось и уменьшалось, моторка неслась к берегу со скоростью двадцати узлов. Над Криссом сомкнулась вода, захлестнула зрачки зеленью бутылочного стекла. На мгновение перед ним мелькнула макрель, вызвав смутное воспоминание, что все это Крисс уже видел...

Флетчер сдал катер тому же служителю.

— Сэр?.. — спросил удивленно тот.

— Несчастье! — перебил его Флетчер. — Спешу в полицию.

Компаньон был спокоен. Или хотел быть спокойным. Что-то вроде оправдательной речи складывалось в его мозгу. Перед кем он оправдывался — перед собой?.. Или готовил речь для полицейского комиссара? Речь была странная. Самого себя Флетчер называл в третьем

лице. Ему казалось, что это звучит убедительно. «Крисс упал в воду, — притягивал он слова одно за другим. — И пошел ко дну. Видит бог, Флетчер не притронулся к нему пальцем! Несчастный случай... Откуда Флетчер мог знать, что Крисс не умеет плавать? Не знал — слово джентльмена! Представить только: они учились и работали вместе одиннадцать лет! Бедный Дэвид, кто мог подумать, что так случится!..»

Речь успокаивала Флетчера. Все в ней на месте. Право же, все в ней на месте.

Показания компаньона в полиции тоже корректны. Лицо выражает искреннее сочувствие.

— Господин комиссар! — На глазах Флетчера слезы. — Крисс был прекрасный товарищ, душевный друг!.. — При этом Флетчер закидывал в карман вельветовой куртки рыболовную лесу. Жесткая леса топорщилась, выпирала наружу. — Поверьте, господин комиссар, я так жалею!.. — Флетчер никак не мог справиться с лесой.

Комиссар записывал в протокол показания. Он даже верил потрясенному компаньону — мало ли несчастных случаев на воде.

— Не волнуйтесь, — говорил он. — Катер уже послан, чтобы отыскать тело.

— О, господин комиссар, может, его удастся спасти!..

— Не волнуйтесь, — повторял комиссар, — сделаем все, что надо.

Флетчера отпустили под залог в тысячу долларов.

— До обследования тела Дэвида Крисса, — пояснил комиссар. — До полного уяснения случая.

Это не волновало Флетчера. Совесть его чиста. Он не толкнул Крисса, даже не подходил к нему, пусть обследуют.

Взяли подписку о невыезде. И это не взволновало старшего компаньона. Никуда он ехать не собирался. Сделали отпечатки пальцев — банальнейшая формаль-

ность. Лаборант прижимал попеременно пальцы правой руки, левой к мастике и оттискивал их на белом. Десяток овалов, грязных пятен появились на пластике, как следы преступления. Это перепугало Флетчера.

Сходя по лестнице, он все вытирал, вытирал пальцы о платок и не мог вытереть дочиста. Пальцы остались темными. Флетчер без содрогания не мог смотреть на них, засунул руки в карманы.

В такси он сидел за спиной шофера. Опять вынул платок, принялся оттирать краску. Чем ближе подъезжал он к лаборатории, тем сильнее ощущал страх. Ничего ему не грозит. Ничего, заверял он себя. Крисс свалился за борт и утонул. Бедняга не умел плавать!.. Но страх не покидал Флетчера. Сумеет ли он остаться в стороне от этого дела? Если бы узнать, если бы быть уверенным! Флетчер метался на заднем сиденье, как в мышеловке. Зачем они взяли отпечатки пальцев? Может быть, видят его насквозь?.. Компаньон отдал бы тысячи, лежащие в банке, лишь бы увериться, что ему ничего не грозит, сбросить с себя липкий навязчивый страх.

— Футуроскоп!.. — вспомнил он. — Вот кто скажет, что меня ждет! Не надо никаких тысяч, достаточно посмотреть два-три ближайших месяца!

Отпустив такси, Флетчер стремительно вбегает в лабораторию. Укол стерильной иглой — чуть больше боли, чуть больше крови — вой центрифуги, и вот кусочек ткани на исследовательском стекле. Дрожащей рукой Флетчер сует стеклышко под объектив аппарата. На ощупь находит кнопку включения.

Движение пальца — и...

Эксперты, прибывшие на место, где только что стояла лаборатория, отметили взрыв, разрушивший здание и неведомый аппарат, — никель, стекло, обрывки элек-

тронной схемы вкраплены в случайно уцелевшую стену. Что-то еще дымилось, пахло жженой резиной.

Толпа зевак оттеснена в обе стороны улицы. У тротуара, загроможденного кирпичом, две машины — белая медицинская и зеленая полицейская. Прибыла третья — инспекторская. Открылась дверца.

— Осторожно, господин комиссар, — эксперты столпились у прибывшего автомобиля, — кругом камень, стекло...

Комиссар не стремился в разрушенную лабораторию, ему докладывают здесь же, возле машины:

— Не меньше трех килограммов тротила. Есть жертва...

Санитарная машина открыта. Двое в халатах вталкивают внутрь брезентовые носилки, стараясь прикрыть простыней человека в вельветовой куртке, из кармана которой свисает до земли рыболовная леса. Простыня зацепилась за что-то, на мгновение открыла лицо мужчины.

— Ба-а! Это же Флетчер! — Комиссар гасит спичку, не раскурив сигары. — Он только что был у меня, не прошло получаса!

Кто-то любезно протягивает ему зажигалку.

Санитары втокнули носилки в машину. Обрывают лесу, попавшую между створками двери. Эксперты и комиссар смотрят на их торопливую суету. Провожают взглядом машину.

Комиссар наконец берет зажигалку, закуривает.

— Не прошло получаса, — говорит он скорее себе, чем окружающим. — Вот уж судьба!..

## ДРОБИНКА

Вечер сгустился до темноты, и только за деревьями сада, за лесом рдела, затухая, оранжевая заря. Когда же на веранде зажгли электричество, заря исчезла, сту-

пеньки веранды ушли во мрак, точно в океанскую глубину, где смутно, как водоросли, маячили ветви яблонь. Зато стол, покрытый скатертью, ослепительно вспыхнул, чайные чашки, ваза с вареньем заблестели, как горсть самоцветов.

— Всегда так, — сказала Надежда Юрьевна. — Включишь — и становится уютно и весело. Восхитительно, Ваня!..

Иван Федорович молча усаживался за стол. Экспрессия в словах жены его мало трогала. Ему хотелось свежего горячего чая. День, как всегда, выдался многословный и хлопотный: начиналась экзаменационная сессия, консультации, коллоквиумы. Все это утомляло его, Фастова, доцента кафедры биохимии. К вечеру Иван Федорович валился с ног. Тут еще поездка на дачу — пока доберешься, ни на что не обращаешь внимания, кроме как на желание поесть и отдохнуть.

— Дима! — позвала между тем Надежда Юрьевна. — Чай пить!

Груша, домработница Фастовых, внесла самовар, поставила на середину стола. Фастовы пили чай по-русски: из самовара, из блюдец. Вовсе не купеческая привычка — мода. Самовары во всех окрестных дачах, отставать от других Фастовым не хотелось.

— Спасибо, Груша, — сказала Надежда Юрьевна.

Вошел девятилетний Дима. Карманы его были подозрительно оттопырены.

— Опять яблоки? — спросила Надежда Юрьевна. — Сколько раз говорю — не ешь зеленые!

Дима поморгал глазами, уселся за стол рядом с отцом.

Надежда Юрьевна начала разливать чай.

— Как Светлана Петровна? — спрашивала она у мужа. — Мария Георгиевна вернулась из отпуска?

Интересовалась она женами сослуживцев Ивана Федоровича. Светлана Петровна к тому же ее дальняя родственница, а к Марии Георгиевне у нее интерес осо-

бый: Мария Георгиевна должна вернуться из командировки в Финляндию.

— Мария Георгиевна вернулась, — ответил Иван Федорович.

— Вот кому счастье! — сказала Надежда Юрьевна. — Привезла небось...

Надежда Юрьевна, как всякая женщина, была равнодушна к нарядам.

Иван Федорович знал слабости жены, привык к подобным вопросам, пропустил слова мимо ушей.

Наступила пауза, тишина, нарушаемая лишь громким прихлебыванием: Дима с видимым удовольствием тянул из блюдца чай.

— Дима!.. — сказала Надежда Юрьевна, строго посмотрела на сына.

Тот перестал тянуть, подлил из чашки в блюдце. Надежда Юрьевна обернулась к мужу спросить о чем-то еще и вдруг громко ойкнула:

— Ой!..

Иван Федорович и Дима оторвались от чая, подняли на нее глаза. Лицо Надежды Юрьевны исказилось, зубами она прикусила губу от боли, медленно оборачивалась боком то ли посмотреть в сад, то ли на что-то неизвестное сзади себя.

— Что с тобой? — спросил Иван Федорович.

Надежда Юрьевна повернулась спиной к мужу и сыну — при этом через плечо она закинула руку назад, ощупывая что-то, — Иван Федорович и Дима увидели, как на белой блузке из-под пальцев ее текла кровь.

— Ты ранена? — вскочил Иван Федорович.

— Мама!.. — Дима тоже вскочил.

— Ой!.. — произнесла еще раз Надежда Юрьевна, поднесла пальцы к глазам и, увидя кровь, медленно опустила лицом на стол. — Что это, Ваня? — спросила она.

Иван Федорович уже стоял возле нее, рассматривал



пятно на блузке. Потом повернулся к саду, поглядел в темноту.

— Что это, Ваня?.. — повторила Надежда Юрьевна.

— Спокойно, — сказал Иван Федорович и тут же, отвечая на вопрос Надежды Юрьевны, признался: — Сам не знаю, что это.

Обернулся к двери, ведущей в комнаты, крикнул:

— Груша!

Груша немедленно появилась.

— Бинт! — сказал он. — И йод! И сейчас же позвони «Скорой помощи»!

— Что случилось? — спросила Груша, видя склоненную к столу Надежду Юрьевну.

— Бинт немедленно! — крикнул ей Иван Федорович.

Через минуту бинт и склянка с йодом были в его руках. Груша кинулась к телефону. Иван Федорович и Дима повели Надежду Юрьевну в комнаты и здесь уложили на диван.

— Это опасно? — спросила Надежда Юрьевна.

«Скорая» должна прибыть из Москвы, Москва от дачного поселка в сорока километрах, прикидывал Иван Федорович. Врачи приедут не раньше, чем через полчаса.

— Больно? — спросил он жену.

— Больно, — ответила Надежда Юрьевна.

— Потерпи, — сказал Иван Федорович.

А Дима спросил, как давеча спрашивала Надежда Юрьевна:

— Что это?

«Ранение, — думал Иван Федорович, — пулевое. По-видимому, из малокалиберки. Развелось этих охотников — ночью и то нет покоя... А жена молодцом — не хнычет, не закатывает истерику». Но Надежда Юрьевна сказала с раздражением:

— Ответь же ты сыну!..

Иван Федорович сказал Димке:

— Иди отсюда, тут тебе не место.

Обнажил ранку чуть пониже белых пуговиц лифчика, смазал вокруг йодом. Надежда Юрьевна опять зайкалала.

— Терпи, — сказал Иван Федорович и стал накладывать на рану бинт.

Димка стоял в дверях комнаты и глазел. Иван Федорович поглядел на него, ничего не сказал. Вошла Груша.

— Сейчас приедут, — сказала она. — Дайте мне, — взяла катушку бинта из рук Ивана Федоровича.

«Скорая» приехала не через полчаса и даже не через час — почти через два часа. На возмущенный вопрос Ивана Федоровича врач — «Ольга Яковлевна», — отрекомендовалась она, как только вошла в комнату, — ответила:

— Вы у нас не одни. Машины были в разгоне.

Тут же обернулась к больной:

— Что у вас?

Через пять минут из-под белой шелковистой кожи Надежды Юрьевны была извлечена дробишка.

— Вот и все! — сказала Ольга Яковлевна. — Простая дробишка. Но вам повезло, — улыбнулась она Надежде Юрьевне, — стреляли, по-видимому, далеко, дробь была на излете. Могло быть хуже.

— Негодяи!.. — выругался Иван Федорович по адресу охотников.

— Да, — подхватила Ольга Яковлевна, — столько несчастных случаев!..

Ранка была прочищена, заклеена. Надежде Юрьевне введен кубик противостолбнячной сыворотки.

— Не волнуйтесь, не беспокойтесь, — говорила на прощание Ольга Яковлевна. — Через три дня как рукой снимет. Останется на память пятнышко.

Иван Федорович благодарил Ольгу Яковлевну. Надежда Юрьевна тоже благодарила. Дима благодарил, Груша благодарила, а когда взрослые пошли провожать

врача к машине, Надежда Юрьевна тоже пошла, Димка сгреб лежавшую на белом бинте дробинку и сунул ее в карман.

Так выглядело начало величайшего события, потрясшего землян в последней четверти двадцать первого века.

В дальнейшем все шло некоторое время подспудно, ничего не обещая, не вызывая волнений у окружающих, тем более у человечества.

Ранка на спине Надежды Юрьевны зажила. В самом деле осталось пятнышко, как предсказала врач Ольга Яковлевна, шрамик. В семье Фастовых перестали говорить о происшествии, о дробинке. Тем более что дробинка в тот же вечер исчезла — так, во всяком случае, решили взрослые.

— Надя, — спросил тогда Иван Федорович, — тут была дробинка, где она?

— До этого мне, Ваня!.. — с досадой ответила Надежда Юрьевна. — Глаза б мои не смотрели!

Димку еще от машины отправили спать, дробинку искать не стали — все равно не определишь, из какого она ружья, не найдешь охотников. Засыпая, Иван Федорович обратил было внимание на деталь: никакого выстрела, когда пили чай, он не слышал. Надо было спросить у Димки, не слышал ли он. Но этот вопрос Иван Федорович заснул, и на том дело окончилось.

В сентябре Фастовы переехали в город, суетность жизни увеличилась еще больше. Димка пошел в школу. У Ивана Федоровича прибавилось работы в лаборатории. Потекла привычная, обычная жизнь.

И только в ноябре Надежда Юрьевна заметила, что ей нездоровится. И то, пожалуй, не она заметила, Мария Георгиевна.

— Надя, — сказала она, — ты похудела. У тебя изменился цвет лица. Заболела?

— Так, легкое недомогание... — призналась Надежда Юрьевна.

— Как аппетит? — спросила Мария Георгиевна.

— Аппетит хороший.

— Больше гуляй на воздухе, — посоветовала Мария Георгиевна. — Лыжи ты совсем забросила, а ведь была спортсменка.

Надежда Юрьевна грустно улыбнулась: мало ли что было в молодости?

— Пойдем в театр? — предложила Мария Георгиевна. — У меня два билета. Один... — тихонько вздохнула, — лишний.

Надежда Юрьевна согласилась пойти в театр.

Пьесу она смотрела рассеянно, мало обращала внимания на доверительный шепот подружки в антракте — сплетни. Кажется, жалела, что пошла, лучше было бы посидеть дома.

— Ты какая-то странная, — заметила Мария Георгиевна, — без огонька. Что у тебя во рту?

— Пуговица... — ответила Надежда Юрьевна.

— А ну.

Надежда Юрьевна выплюнула в кулак пуговицу, показала подружке. Пуговица была жестяная, старая, порядком обсосанная.

— Что это ты?.. — удивилась Мария Георгиевна.

— Не знаю, — ответила Надежда Юрьевна.

— Так и сосешь?

— Сосу.

Мария Георгиевна удивилась еще больше. Сказала:

— Такую гадость...

Пуговица действительно была не из лучших. Но Надежда Юрьевна преспокойно отправила ее в рот.

— Надя!..

— Хочется, — сказала Надежда Юрьевна.

— Давно?

— С месяц...

Бывает, что дети едят известку со стен, какую-нибудь траву. Это Мария Георгиевна знала. Тут железная пуговица. Может быть, Надя в положении?

Поговорили на эту тему.

— Кажется, нет, — сказала Надежда Юрьевна.

— Значит, в твоём организме не хватает железа, — сделала вывод Мария Георгиевна.

Надежда Юрьевна поводи́ла языком во рту пуговицу, ответила:

— Наверное, не хватает,

— Ешь побольше яблок и помидоров, — посоветовала Мария Георгиевна.

— Яблоки ем.

— Надя!..

Они уже вошли в зал после антракта, сели. Мария Георгиевна искоса взглянула на подругу:

— Ты какая-то странная.

— Повторяешься, — ответила Надежда Юрьевна.

Поднялся занавес, и обе подруги досмотрели действие без интереса.

Пуговицу во рту Надежды Юрьевны заметил и Иван Федорович.

— Так и сосешь? — повертел он пуговицу в руках.

— Сосу, — ответила Надежда Юрьевна.

— Брось, — посоветовал муж.

Надежда Юрьевна взяла у него пуговицу, положила в рот под язык.

Иван Федорович поглядел на жену внимательно: побледнела, под висками появились вмятины — похудела.

— Завтра же сходи к врачу, — сказал он.

— Зачем?

— Что у тебя за мания — сосать пуговицу? — возмущился Иван Федорович.

— А врач чем поможет?

— Посоветует что-нибудь. Может, у тебя малокровие.

— Вот еще... — сказала Надежда Юрьевна. Но к врачу пойти согласилась.

— Ну и что? — спросил Иван Федорович вечером, возвратившись с работы.

— Обслушала, обстучала, — начала рассказывать Надежда Юрьевна. — Говорит: вы здоровы.

— А пуговица? Ты сказала про пуговицу?

Пока разговаривала с мужем, пуговицу Надежда Юрьевна держала в руке.

— Сказала.

— И что? — нетерпеливо спросил Иван Федорович.

— Ничего особенного. Недостаток в организме железа.

— Господи! — воскликнул Иван Федорович. — И ты об этом говоришь спокойно!

— Прописала таблетки Бло, ферамид, — рассказывала о беседе с врачом Надежда Юрьевна. — А больше, говорит, кушайте шпината и свеклы. В сыром виде.

— В сыром виде!.. — воскликнул Иван Федорович. — Ты больна?

— Здорова. Сказала же врач...

Каждый день Груша подавала ей тертый шпинат и свеклу. Надежда Юрьевна безропотно поедала то и другое. Но главным ее удовольствием была железная пуговица, которую она обсосала уже наполовину.

Иван Федорович беспокоился. Как ни был занят работой, он не мог не заметить ухудшения здоровья жены. Надежда Юрьевна худела, у нее появилась апатия — даже разговаривать ей не хотелось. Всякий раз, приезжая с работы, Иван Федорович спрашивал жену о здоровье:

— Ну как?

— Ничего, — отвечала Надежда Юрьевна односложно.

— В санаторий поедешь?

— Не хочу.

— Надя!

— Не смотри на меня так, — говорила Надежда Юрьевна.

В январе у Ивана Федоровича осуществилась мечта. Он перешел с преподавательской работы на исследовательскую, стал заведующим лабораторией. Работа над диссертацией быстро пошла вперед, подходила к заключительной стадии. Предстояло поставить ряд опытов, работал Иван Федорович в области изучения мозга, была изготовлена тончайшая аппаратура по биотокам. Случалось, Иван Федорович сутками не появлялся дома — обедал в институте, спал в лаборатории. Естественно, Надежда Юрьевна была от этого не в восторге, но Иван Федорович умел успокаивать супругу: в конце концов главное, говорил он, работа.

— Это ненадолго, Наденька. Через месяц освобожусь. Даже возьму отпуск, если хочешь. Как твоя пуговица? — попытался он шутить.

— Замолчи!.. — говорила Надежда Юрьевна. Какое-то равновесие в ее организме наступило: худеть она перестала. По-прежнему ела шпинат и свеклу — недостаток железа в организме ощущался. Но теперь по советам близких Надежда Юрьевна больше ела мяса, яиц, и все надеялись, что дело идет к перелому, Надя наконец начнет поправляться.

Так думал и Иван Федорович. Приналег на работу, по неделе не появлялся дома.

В такое вот время, ощущая нужду в деньгах, Надежда Юрьевна зашла к мужу в лабораторию.

— Ты, Надя! — отвлекся он от приборов. — Садись. Я сейчас.

Надежда Юрьевна села на стул. Муж возился с аппаратурой.

— Что такое? — ворчал он. — Откуда поле? Не было ничего — и вдруг...

Надежда Юрьевна сидела на стуле, ждала, когда Иван Федорович оторвется от приборов.

— Не пойму... — бормотал тот. — Откуда фон? Несомненно, наведенный. Не было же минуту назад!

Надежде Юрьевне надоело сидеть. Встала со стула, подошла к шкафам поглядеть на приборы.

— А... — удовлетворенно сказал Иван Федорович. — Чисто, никаких помех. Надя! — позвал жену.

Надежда Юрьевна подошла.

— Я совсем забыл, — признался Иван Федорович. — Зарплату получил. Вот деньги.

При этом он случайно взглянул на приборы и выругался:

— Что за черт! Извини... — обернулся к жене. — Не ладится тут, в аппаратуре.

Опять стал копаться в приборах. Надежда Юрьевна заскучала, отошла к окну. За окнами лаборатории был маленький сквер, из детского сада вывели малышей на прогулку.

— Надя! — позвал Иван Федорович.

Надежда Юрьевна подошла.

— Вот деньги, — вынул он наконец из кармана.

Передавая жене конверт, он искоса поглядывал на стрелки, на счетчики. Что-то опять там не ладилось.

— Фокусы! Прямо фокусы! — недовольно восклицал Иван Федорович.

Надежда Юрьевна взяла деньги, пошла прочь. Дошла уже до двери, когда Иван Федорович окликнул ее:

— Надя!

Надежда Юрьевна обернулась. Муж стоял, наклонясь над столом, позвал ее:

— Вернись, пожалуйста.

Надежда Юрьевна вернулась.

— А-а-а... — протянул Иван Федорович, не отрываясь от приборов.

— Чего тебе? — спросила Надежда Юрьевна.

— Отойди... — Иван Федорович стоял к ней спиной, впившись глазами в аппаратуру.

Надежда Юрьевна отошла.



— Подойди!

Надежда Юрьевна неуверенно подошла.

— Вот как! — сказал Иван Федорович. — Отойди!

— Ты что, Ваня, считаешь меня маятником? — спросила Надежда Юрьевна. — Туда-сюда...

— Отойди! — Иван Федорович по-прежнему стоял к ней спиной, глядел на приборы.

Надежда Юрьевна пожала плечами, пошла к двери.

— Надя!..

Это был крик. Так кричал Архимед «Эврика!».

Надежда Юрьевна испуганно обернулась.

Муж глядел на нее расширенными глазами и уже не кричал — шептал:

— Подойди еще раз...

Надежда Юрьевна испугалась, медленно пошла к нему. Он оглянулся на приборы, потом на нее и внезапно опустился на стул, на котором только что сидела Надежда Юрьевна. Лицо его было бледно.

— Тебе плохо? — наклонилась к нему Надежда Юрьевна.

— Нет, нет, Надя... — сказал он скороговоркой. — Дай подумать. Дай мне подумать.

Опять взглянул на приборы.

— В чем дело? — спросила Надежда Юрьевна.

— В чем дело? — переспросил он. — В том-то и дело, в чем дело...

— Иван Федорович! — Надежда Юрьевна готова была рассердиться.

— В том и дело... — машинально повторял Иван Федорович. Поглядел на жену и сказал: — Ты излучаешь!

— Что излучаю? — испуганно спросила Надежда Юрьевна.

— Излучаешь и все!.. — Иван Федорович был растерян.

— Поясни, Ваня, — ласково попросила Надежда Юрьевна.

— Как будто в тебе работают, знаешь... сто радиостанций сразу, — пояснил Иван Федорович.

Надежда Юрьевна не нашлась, что сказать мужу.

— Феномен какой-то... — смотрел на жену Иван Федорович.

— Глупости, — наконец произнесла Надежда Юрьевна.

— Тебя надо исследовать, — сказал муж. И прибавил: — Невероятно!

Надежда Юрьевна повернулась и молча вышла из лаборатории.

В этот день Иван Федорович приехал домой рано.

Тотчас приступил к жене с расспросами: как самочувствие, есть ли улучшение, как она питается, чем, как с пуговицей. Надежда Юрьевна отвечала на вопросы мужа, показала пуговицу — тоненькую пластинку: иссосала почти всю.

— Да... — кивал при этом головой Иван Федорович. — Да...

Он столько раз повторял это «да...», что Надежда Юрьевна пришла в раздражение и спросила, к чему ведет этот допрос.

— Видишь ли... — Иван Федорович не находил нужных слов.

— Ничего не вижу! — сказала жена. — Потемки!

— Правильно, — согласился Иван Федорович. — Потемки.

— Что же все это значит?

— Ты вся излучение, — сказал наконец Иван Федорович. — Приборы словно сошли с ума. Токи мозга по сравнению с твоим излучением — невнятный шепот.

Надежда Юрьевна слушала.

— Вот я и думаю: в чем дело? — продолжал Иван Федорович. — Может быть, ты железом перенасытилась? Железо, оно знаешь, имеет магнитные свойства... Ты не беспокойся, пожалуйста! — заверил он, видя, как

смотрит на него Надежда Юрьевна. — Ничего опасного нет, если ты и намагнитилась.

— Хватит! — оборвала разговор Надежда Юрьевна. — Скоро ты скажешь, что твоя жена — слесарная мастерская. Так?

Иван Федорович так не думал. Но и что думать, не знал.

Решили, что надо идти опять к врачам исследоваться.

В поликлинике Надежде Юрьевне предложили пройти анализы.

— Вот талончик на кровь. Это можно сегодня. Спуститесь вниз, в кабинет одиннадцатый.

Надежда Юрьевна сдала на анализ кровь.

— Придете завтра, — сказали ей, — в девять часов.

Но удивительные события развернулись раньше этого срока.

Лаборант Вятлов закончил анализ крови Надежды Юрьевны в час дня. В четверть второго он вошел к главному врачу Сергею Наумовичу.

— Удивительно, — сказал он с порога. — Знаете, что я обнаружил в крови Фастовой?

Сергей Наумович поднял голову от бумаг.

— Не поверите! — сказал Вятлов.

Сергей Наумович молча ждал.

— Спуститесь, взгляните сами!

То ли недоумение в глазах Вятлова, то ли дерзость, так подумал Сергей Наумович, с какой Вятлов вошел к главному врачу: не каждый и не по всякому поводу решится беспокоить Сергея Наумовича да еще приглашать его к микроскопу, — подсказали главному врачу, что у лаборанта есть к этому основания. Сергей Наумович поднялся и пошел вслед за Вятловым.

Так они и шли — лаборант впереди, главврач за ним, какая-то невидимая нить связывала обоих. Лаборант шел озабоченно, это можно было заметить по его напряженно выпрямленной спине; главный врач шагал

трудно, в походке чувствовалась его шестьдесят восемь лет, и еще чувствовалась озабоченность, которая передалась Сергею Наумовичу от лаборанта. Надо было бы всему миру поглядеть, как они шли — лаборант и Сергей Наумович. Но мир пока ничего не знал, хотя стрелки часов уже отсчитывали секунды эпохального времени.

В маленькой тесной лаборатории никого не было. Микроскоп стоял у окна, в зажимах стекло с небольшим ржавым пятнышком. Сергей Наумович подошел к микроскопу, тронул винт, приподнял тубус, применяя к своему зрению.

То, что он увидел, было невероятным. Сергей Наумович оторвался от микроскопа, протер глаза. Опять наклонился, чуть-чуть пошевелил винт. На ржавом коричневом фоне растекшейся крови в двухсоткратном увеличении линз Сергей Наумович увидел блестящие металлом обломки машин: шестерни, колеса, гнутые скобы и рычаги.

— Что это? — спросил Сергей Наумович.

— Третья проба, — ответил Вятлов.

Вынул из-под микроскопа стекло с ржавым пятнышком. Взял из коробки другое, чистое. Выдавил из мензурки на него каплю крови, вновь поставил под тубус.

Сергей Наумович принял к окуляру. Увидел он то же самое: шестерни, металлические детали. И еще он увидел — нет, не привидение, не фантом — миниатюрную микроскопическую подводную лодку...

Действительно, это было невероятно. За долгую практику Сергей Наумович ничего подобного не наблюдал.

— Чья кровь? — спросил он, не отрываясь от окуляра.

— Фастовой... Надежды Юрьевны, — лаборант взглянул на листок.

— Супруги Ивана Федоровича Фастова?

Лаборант Ивана Федоровича не знал.

Сергей Наумович знал. Отсюда же, из лаборатории, позвонил Ивану Федоровичу.

Через полчаса Иван Федорович приехал.

— Взгляните, — сказал ему главный врач.

Их отыскиали через неделю с помощью микроскопа, дававшего увеличение в шестьсот раз. Похожими на людей они не были: голова, туловище с двумя рядами щупалец — один ряд вверх, другой вниз. Увидели их города, заводы.

Надежде Юрьевне пришлось претерпеть массу исследований. Для нее одной отвели целый этаж загородной больницы. Палаты превратили в лаборатории, нижний этаж — в жилье для научных сотрудников. Надежду Юрьевну осматривали, выстукивали, просвечивали, опрашивали, обследовали, переобследовали, доследовали... Ею восхищались, восторгались, ужасались. Все это она сносила терпеливо и молча — послушный кролик науки.

Выводы были ошеломляющими: в теле Надежды Юрьевны обосновалась внеземная цивилизация.

— Как?.. — был всеобщий вопрос и другие вопросы: — Откуда? С каких пор? Почему?

Все это выяснялось и в конце концов выяснится.

Но как войти в контакт с пришельцами? Кто они?

— Радио! — предложил Иван Федорович.

Действительно, Надежда Юрьевна излучала поток радиоволн. Цивилизация в ее теле обосновалась со всеми удобствами, вплоть до телевидения.

Была определена частота радиоволн, диапазоны. Передачи велись на микроволнах. Аппаратуры работать с такими волнами не было. Техники тут же создали аппаратуру — приемники, телевизоры. Услышали голос гомункулов — пришельцев назвали гомункулами, увидели их самих.

Больше всего поразило землян, что они великолепно устроились в человеческом теле. Лимфа крови была для них питательным веществом. Кислород для технических

нужд они добывали из красных телец, не уничтожая, однако, их, а высасывая атомы кислорода то из одного, то из другого эритроцита. Из лимфы они получали кислоты, металлы, в том числе и железо для машин, цивилизация у них оказалась технической.

На экранах телевизора можно было видеть их информационные передачи, искусство. Гомункулы оказались существами деятельными и жизнерадостными. Жизненное пространство они осваивали энергично, не встречая сопротивления. Антитела оказались нейтральными к ним, фагоциты их не трогали, микробы не поражали. Почему? Было миллион почему.

Города-колонии они основали в легких Надежды Юрьевны, под левой лопаткой, там, где остался шрамик после ранения дробинкой. Города просвечивались рентгеном в виде округлых пятнышек с поперечными и продольными полосами: это оказались улицы и проспекты. Средством передвижения служили закрытые лодки, похожие на наши подводные, и открытые лодки-гондолы. Передвигались при помощи тока крови, предпочитая артериальную кровь, но могли передвигаться и против тока крови: лодки у них были моторными.

Телепередачи у них, особенно развлекательные, очень забавные: во-первых, шли круглые сутки (гомункулы не знали сна), во-вторых, предпочтение отдавалось пляскам-хоровам, индивидуальным пляскам с затейливыми движениями рук и ног. Разыгрывались сцены с декорациями, наверное, детективные, потому что одни гомункулы гонялись за другими, а те улепетывали и прятались. Все это сопровождалось своеобразной музыкой — электронной. Музыкальных инструментов, кажется, у гомункулов не было: звучали электрические и магнитные поля. Металлургия у них атомная: строили машины и механизмы из атомов железа и других металлов, извлекая их из тела Надежды Юрьевны. При этом никаких отходов термической обработки не замечалось: атомы складывались по программе, и по-

лучалась деталь или машина, по мнению землян, удивительно и завидно быстро.

Время у гомункулов было не наше — другое. По наблюдениям, каждая особь жила семь-восемь дней. Каждый наш час равнялся для них примерно году.

Откуда гомункулы появились, так и не выяснено. Но очевидно, планета их покрыта океаном, растворившим все вещества. В человеческой крови они оказались как бы в родной стихии. Да ведь и кровь по составу сродни океанской воде. Что касается размера их планеты — большая она или маленькая — судить тоже нельзя. Наша Земля большая, а микроорганизмы живут на ней вместе с людьми. Возможно, цивилизация гомункулов появилась и развилась в среде микроорганизмов.

Вопрос о том, как войти с гомункулами в контакт, возник в тот момент, когда они были обнаружены. Но был и другой вопрос — боже, сколько этих вопросов! — как сохранить здоровье Надежды Юрьевны? Гомункулы могли расселиться — и расселялись — по всему телу. Могли высосать из Надежды Юрьевны все соки. Женщине назначили усиленное питание. В общем, Надежда Юрьевна была здорова, не считая некоторой апатии и усилившегося аппетита. Но ей надоели исследования, надоела больница. Когда же ей сообщили, что микробы, да еще разумные, расселились в ее мышцах и печени, она ответила:

— Надеюсь на медицину. Она выдворит их оттуда.

Конечно, надо было их выдворить.

Опять вопрос: как?

Может быть, уничтожить?

Цивилизацию?..

Вступить в переговоры было единственным разумным решением. Тем более это сулило землянам множество выгод: контакт обещал открытия в медицине, в космонавтике, астрономии.

Задачу контакта разрешили с помощью радио, телевидения — электроники.

Было замечено, что теле- и радиопередачи, особенно информационные, начинаются у гомункулов одними и теми же фразами. Резонно предположили, что эти фразы эквивалентны нашим. В начале: «Уважаемые радиослушатели, начинаем последние известия». В конце: «До свидания, до скорой встречи!»

Электронные счетно-решающие устройства подтвердили, что это так. Был найден ключ к освоению языка гомункулов.

Когда накопился достаточный запас слов и была сконструирована передающая аппаратура, к гомункулам обратились с обычной их вступительной фразой:

— Уважаемые радиослушатели!

Какой переполох возник в стане пришельцев, когда электронная машина передала через их радиостанции эту фразу! Возможно, от неожиданности, возможно, оттого, что фраза прозвучала необычайно громко, гомункулы буквально попадали с ног. Гром с ясного неба!

Но это деталь. Контакт удался, начались разговоры.

— Кто вы? — спросили земляне — вопрос с виду простой и ясный.

— А кто вы? — спросили гомункулы.

Кто мы? Надежда Юрьевна? Человечество? Венец творения?..

Так-то задавать простые вопросы: гомункулы тоже считали себя венцом творения.

Поделом.

Второй вопрос был такой:

— Откуда вы?

Гомункулы ответили:

— Зачем вам это нужно?

У пришельцев был характер!

Терпение. Начались многословные пояснения, кто мы такие.

— Как вы появились у нас? — спросили земляне.

— На этом острове?.. — спросили пришельцы.



Надежду Юрьевну они считали островом! Разговор велся в присутствии Надежды Юрьевны, и она возмущалась:

— Какая наглость!

Ее попросили молчать. Гомункулам пояснили, что они в человеческом теле.

— Этот остров — человек? — спросили они.

— Человек, — подтвердили земляне.

— Такой большой?..

— Все люди большие.

— Сколько вас? — спросили гомункулы.

— Пять миллиардов. А вас сколько?

— В теле?

— Да, в теле.

— Двести семнадцать.

— Миллиардов?..

Электроника перевела ответ:

— Штук.

Потом гомункулы поставили вопрос:

— В каждом из вас можно жить, как в этом теле?

Вопрос заставил задуматься: нет ли тут опасности для человечества?

— Видите ли... — Как им ответить, что они ведут в теле паразитический образ жизни? Кто-то придумал нейтральный ход: — Вам нужно выйти из тела.

Ответ последовал тотчас:

— Нам и здесь хорошо.

Еще бы — на всем готовом!

Последовал очень долгий разговор о том, что тело можно довести до истощения, используя его соки для заводов и городов. Тело может умереть, а вместе с ним погибнут и гомункулы.

Подумав немного, пришельцы ответили:

— Можно переселиться...

Похоже, что пришельцев не так легко убедить в очевидных для нас вещах. Тогда им сказали:

— Подумайте об этике.

— Что такое этика? — спросили гомункулы.

Пришлось очень долго разъяснять, что вторжение в чужой мир вопреки желанию и воле хозяев не совсем приятная вещь. И о том, что человек, в теле которого они поселились, страдает, а страдание и насилие — вещи дурные, и это, наверно, понятно любому разумному существу.

Гомункулы подумали и спросили:

— А лишать нас корабля, в котором мы прилетели, — это этично?..

В лагере землян произошло замешательство: что за корабль? Какой корабль?.. Пока сыпались эти восклицания, сверкали недоуменные взгляды, гомункулы выдвинули требование:

— Верните корабль.

Земляне ничего на это ответить не могли, гомункулы повторили:

— Верните корабль, и мы улетим.

Тогда Иван Федорович и Надежда Юрьевна вспомнили о чаепитии на веранде, о ранении — происшествие это в потоке нахлынувших необычайных событий было забыто. Вспомнили о враче «Скорой помощи» Ольге Яковлевне, о дробинке, которую она вынула из-под кожи на спине Надежды Юрьевны. По-видимому, дробинка и есть корабль.

Где дробинка?

Вспомнили, что Ольга Яковлевна положила ее на кусок бинта возле кровати в спальне. Куда делась дробинка, не могли вспомнить.

Призвали домработницу Грушу. Груша уверяла и клялась, что дробинки не видела.

— Может быть, вымела с сором?..

— Да нет же, — отмахивалась Груша. — Видеть не видела!

Позвали Димку.

С первого вопроса глаза у мальчишки забегали, Димка два раза шмыгнул носом, но промолчал.

— Мальчик... — упрашивали его.

Димка стоял, размышлял: подумаешь — дробинка. Другое дело найти гильзу с порохом, с пулей или, на худой конец, осколок мины, проржавевший в земле.

— Вспомни, мальчик, — просили члены комиссии.

Нет, думал Димка, весь этот народ не понимает ценности настоящих вещей. Вот бы найти зажигалку времен Великой Отечественной войны. Находят же ребята...

— Ты, кажется, последним выходил из спальни, — напомнил ему отец. Интонация была вкрадчивая, мягкая по аналогии с другими случаями, вспомнил Димка, не обещала ничего доброго. Лучше признаться.

— Я ее в карман положил, — сказал Димка.

— В какой карман? — спросил отец.

— Штанов.

— Каких?

— С яблоками.

— Каких штанов?..

Пришлось напрячь память.

— Синих, в полоску.

— Там она и лежит?

Димка опять пошмыгал носом:

— Не знаю.

Понятно, что члены комиссии, в присутствии которых велся допрос, переходили от отчаяния к надежде и от надежды к отчаянию. Тем более что гомункулы заявили ультимативно: «Никаких разговоров. Верните корабль!»

— Дима, — сказали ему, — от этой дробинки зависит жизнь или смерть твоей мамы. Понимаешь? Дробинку надо найти.

Между тем сведения о гомункулах просочились на страницы газет. Полосы пестрели заголовками один удивительнее другого:

— Женщина-галактика.

— Откуда пришельцы?

— Ультиматум: не улетим, пока не будет найден корабль.

— Где корабль?..

Обсуждались подробности: их всего двести семнадцать особей. Неужели земная техника бессильна против горсточки наглецов?.. Как они живут? Присмотритесь, как они живут! В их городах два-три десятка особей. Каждый занимает целый квартал!..

Действительно, гомункулы жили просторно — к чему им такой размах?.. У них атомная металлургия. За-водо-городом управляют трое гомункулов. Металлургии и автоматике надо у них учиться.

Но учить землян, даже разговаривать с ними гомункулы, по-видимому, не имели никакого желания. Их оскорбило и вывело из себя три положения: намек, что они ведут паразитический образ жизни за счет Надежды Юрьевны; то, что им предложили покинуть остров, и, наконец, корабль. Они были убеждены, что корабль похищен существами, которые называют себя землянами, и что земляне применили при этом грубую силу.

— Почему вам не построить другой корабль? — обратились к ним члены комиссии.

— Потому что нам не хватает молибдена, титана и тория, — ответили они.

Вводить в тело Надежды Юрьевны перечисленные металлы, особенно радиоактивный торий, комиссия не решалась — это было бы равносильно убийству.

Оставалось одно: найти дробинку.

Поисками занялись трое: Димка, Груша и Иван Федорович.

В кармане синих штанов дробинки не оказалось. Да и как она могла там остаться, если Груша после дачного сезона стирала их неоднократно?

— Вспомните, — умолял Иван Федорович, — может, была дробинка? Может, вы ее куда положили?

Груша начисто отрицала: дробинки не видела.  
— Дима, может быть, ты ее съел с яблоками?..  
— Ну как же, папа... — возражал Дима.  
— Что у тебя было еще в карманах?

Дима был собирателем сокровищ: карманы его всегда набиты рыболовными крючками, железками, подобранными на улице, резинками от рогаток, самими рогатками и вообще всякой дребеденью. Отец об этом хорошо знал, у него возникли мысли, предположения.

— Куда ты разгружаешь свои сокровища?

У Димки был специальный ящик для всех этих предметов. И на даче у него был ящик.

— Где этот ящик? — спросил отец.

— На даче, — ответил Димка.

К первому сентября он уехал в город. Когда родители перебрались с дачи, он уже ходил в школу. Куда из-под кровати делся ящик, Дима не имел представления.

— Надя, — примчался к жене Иван Федорович, — где ящик из-под Димкиной кровати?

— Выбросила в сарай, — ответила Надежда Юрьевна.

— Что там было?..

— Хлам какой-то.

Из больницы отец с сыном и с Грушей поехали на дачу. Сарай был открыт, все перевернуто, перебито — побывали местные мародеры-мальчишки в поисках бутылок: бутылки можно было сдать в магазин, подработать... Ящик тоже был наполовину разбит — кто-то подфутболил его ногой.

С горестным восклицанием Димка кинулся собирать свои сокровища. Иван Федорович упал духом: где тут найти дробинку?.. Однако предмет за предметом они перебрали содержимое ящика до дна. Дробинки не было. Обстукали ящик руками со всех сторон — может, дробинка застряла в пазах или в стенках ящика. Ничего.

— Все пропало! — в отчаянии сказал Иван Федорович.

Но тут появилась Груша:

— Иван Федорович. Эта, что ли?

На ладони у нее лежал металлический шарик.

— Груша!.. — воскликнул Иван Федорович.

Пока отец с сыном копались в сарае, Груша осмотрела Димкину спальню, уголок, где стояла его кровать, и здесь, в трещине под отставшим плинтусом, нашла дробинку.

— Груша! — Иван Федорович, зажав дробинку в ладони, восторженно целовал домработницу.

Димка, как скромный мальчик, отвернулся от этой сцены.

— Спасена! — растроганно повторял Иван Федорович. — Спасена! — Это относилось к Надежде Юрьевне, и это понимали Груша и Дима.

Дима не выдержал, сказал как взрослый:

— Поздравляю!

— Поздравить бы тебя... — сказал отец, но не очень строго, и Дима понял, что печальных последствий для него не предвидится.

Гомункулам сообщили, что корабль найден.

— Возвратите, — сказали они.

— Куда возвратить?

— На место посадки.

— Это будет совсем несложная операция, — успокаивали Надежду Юрьевну врачи. — Маленький надрез, и мы введем дробинку под кожу.

Комиссия по контакту выработала программу обмена с пришельцами научным и техническим опытом. Но гомункулы не пожелали никакого обмена. Прекратили работу радиостанций, размонтировали заводской комплекс. Потянулись к месту, где под кожу Надежды Юрьевны был введен их корабль-дробинка.

Через пару часов в теле Надежды Юрьевны прекратилась деятельность гомункулов, организм выводил микроскопические обломки зданий, машин и другой инопланетной техники. Земляне наблюдали это катастрофическое разрушение с болью в сердцах. Тщетно зывали к гомункулам задержаться, дать хоть какие-то сведения о себе, о своей звезде и планете. Гомункулы молча заканчивали эвакуацию.

Когда все было закончено, Надежду Юрьевну из палаты вывезли на открытую террасу больницы. Была теплая майская ночь.

Земляне приготовились заснять старт корабля, одновременно и направление.

Корабль стартовал в двадцать три часа пять минут по направлению к Полярной звезде.

Откуда-то, уже из пространства, гомункулы попрощались с Землей по радио:

— До свидания!

Второго такого свидания землянам, откровенно сказать, не хотелось. Особенно Надежде Юрьевне.

## ЖЕЛЕЗНЫЙ СОЛДАТ

В Ялту ехали мы втроем: Валентин Корзин, я и водитель «Волги» Виктор Казанский. «Волга», надо оговориться сразу, не была Витькиной — принадлежала его отцу, директору угольного треста. Но инициатива поездки, мысль прокатиться на побережье, это — ничего тут не прибавишь и не отбавишь — Витькино. У него был запас энергии, сэкономленный за годы обучения в институте. Сэкономил он, предпочитая футбол корпению над учебниками в библиотеке. И еще за счет нашей к нему дружеской доброты. Что стоило нам, здоровым парням, заканчивая свои контрольные и курсовые работы, закончить с ходу и Витькины? Сражениями на стадионах Виктор в конце концов отстаивал честь ин-

ститута, нашу с Валентином Корзиным честь... Зато после экзамена, когда мы с Валентином ошалело глядели на золотые каемки корочек и пятерки во вкладышах, жизнерадостный Витька, отмахнувшись от вкладыша вообще и довольствуясь обычным цветом диплома, сказал:

— Все! Едем отдыхать в Ялту!

Мы не сопротивлялись. Мы не имели сил. В Ялту так в Ялту... Нас не заинтересовало, как удалось Витьке увести «Волгу» у своего папаши. В конце концов каждый имеет право выражать благодарность друзьям по-своему. В Ялту! Расслабленно откинулись мы на сиденьях машины.

Только в пути начали приходить в себя. Золотая осень лесопосадок — ехали мы из Донецка, — утренние туманы и дорога, дорога — все это вливало в нас новые силы. Даже Витькин транзистор, прогудевший нам уши в студенческой комнате, перестал нас мучить и раздражать. Позывные «Речка движется и не движется...» приобрели вдруг мелодию и лиризм. Мы слушали Пьеху и Магомаева, соглашались с Витькой, когда он, влюбленный в музыку, хвалил транзистор:

— Глобальная штука!

В этом состоянии беззаботности, удивительном после пяти лет учения, и застала нас весть о посадке космической станции на Венеру. Пришла она из того же транзистора. Теперь мы не отрывались от него ни на минуту, чтобы еще раз прослушать сообщение из Москвы и вдоволь наговориться.

Опять трогались и опять говорили. О том, что человек прошупал поверхность Марса, держит на ладонях Венеру. Перешли к предположениям, как выглядела эта посадка со стороны. Выглядела, конечно, здорово! Заговорили о «летающих тарелках», о межпланетном корабле, взорвавшемся над тайгой... В машине сидели не специалисты-строители — мальчишки, давшие крылья своей фантазии.



Незаметно подъехали к Симферополю. В кемпинге нам выделили палатку.

— Вас трое, четвертый там уже есть, — сказала администратор, выписывая квитанцию.

— Кто такой? — спросил Виктор.

— Бухгалтер, ходит пешком по Крыму. Старик.

— Пустынник?.. — многозначительно хмыкнул Виктор.

— Посмотрите, — ответила администратор.

Старик оказался маленьким и тщедушным. Он лежал на кровати и занимал ровно половину ее длины. По всему было видно, что Горького из него не получится: годы он упустил, а ходить в паше время пешком и глядеть на природу — занятие в высшей степени непрактичное.

Удивительным оказался у него голос — трубный, зычный, будто весь клубок сухожилий и нервов напрягался в старике и звучал одновременно.

— Добро пожаловать, молодые люди! — приветствовал он нас, едва мы перешагнули порог палатки. — А я думаю, кого пошлет мне сегодня случай?..

— Нас! — коротко ответил Виктор. — Троих.

— Славно! — ответил старик.

Славного, признаться, мы ничего не видели: четыре кровати, тусклое, будто слюдяное, окошечко в парусине — комфорт не ахти какой, но старик еще раз повторил:

— Ей-богу, славно!

Пожалуй, мы больше прислушивались к его голосу, чем присматривались к нему. Как личность мы готовы были старика игнорировать. У нас была своя община, своя тема для разговора, настроенная в определенном звучании. «Славно!» — произнесенное стариком трубным голосом, не отвечало нашему настроению. Мы не хотели отвлекаться от того, что сидело в нас и что мы считали своим.

— Места дальше пойдут красивые... — одобрил старик, видимо, свою мысль, ни к кому, кажется, не обращаясь. — Великолепнейшие места!

— Вам радио не помешает?.. — с редкой бестактностью перебил его Виктор и включил транзистор.

Старик ничего не ответил. Мы с Валентином уже легли, Виктор возился с замком чемодана и продолжал дневной разговор:

— Возьмите обыкновенное колесо! Ничего похожего на колесо в земной природе не существует. Принцип передвижения у нас совершенно другой — рычаг, будь то крыло птицы или нога человека. Колесо совмещает в себе вращательное движение с поступательным и с бесконечностью. Оно и есть бесконечность — символ вселенной. Оно появилось у нас на Земле как явление инородное, принесенное к нам из космоса.

Витька занимался бессовестной эксплуатацией чужих мыслей. О колесе он вычитал из журнала.

— На Земле должны были появиться не колесные экипажи, — продолжал он, — а стопоходы. Это отодвинуло бы развитие техники на тысячелетия. Кто-то добрый и щедрый подарил нам колесо, раз и навсегда предопределив нашу техническую цивилизацию.

— Почему не предположить, что колесо изобрел все-таки человек? — спросил Валентин.

— Отрицаешь контакты разума во вселенной? — ответил ему вопросом Виктор.

Валентин пожал плечами.

— Отрицаешь сегодняшний факт, — продолжал Виктор, — что мы явились с визитом на Венеру?

Тут была определенная логика, Валентин это чувствовал.

— Хорош гусь! — обвинил Виктор товарища, — Присваиваешь себе то, в чем отказываешь другим. Становишься на точку зрения гомоцентризма: человек — венец творения. Точка-то восемнадцатого столетия!..

Это было слишком. Валентин выключил транзистор и сказал:

— Давайте спать. Человеку, — кивнул на бухгалтера, — нужен отдых.

Но бухгалтер поднялся на кровати.

— Юноша прав, — поддержал он Виктора. — О контактах и я могу рассказать. Могу, молодые люди, если захотите послушать.

Его голос заполнил палатку зычным отзвуком меди. Мы повернули головы в его сторону.

— Абсолютно прав! — повторил бухгалтер, кивая одобрительно Витьке.

Меньше всего мы ожидали, что старик заговорит на эту тему. Но он заговорил, сразу овладев нашим вниманием.

— Хотим ли мы слушать? — подхватил Виктор, великодушно приняв союз, предложенный ему бухгалтером. — Хоть до утра!

— Я знаю, что на Венере опустилась наша исследовательская станция. — Старик приоткрыл рюкзак, показал нам «Спидолу». — А вот как это произошло на Земле, я видел собственными глазами. Не подумайте, что совру, — продолжал он, усаживаясь перед нами удобнее. — Из детского возраста, извините, вышел.

На этого человека стоило посмотреть. Если даже он шарлатан, фокусник, все равно стоило, потому что рассказ его должен быть необычным. И мы глядели трое на одного. Поймите наш скепсис и недоверие, помноженные на нигилизм молодости. Поймите современность и образованность перед колхозным бухгалтером, нашу наэлектризованность наконец. Но старик не отвел взгляда, его темное морщинистое лицо не дрогнуло ни одним мускулом. Он смотрел на нас как на сыновей, он был благожелательным человеком и хотел, чтобы его выслушали. Обстановка не располагала к мистификации. В такой день нельзя было лгать. И если в первой реплике Виктора о том, что мы готовы слушать хоть до

утра, еще чувствовался смешок, то сейчас, когда старик выдержал наши взгляды и наш скептицизм, а он их выдержал, Виктор сказал уже без тени насмешки:

— Слушаем.

Это не была гоголевская ночь перед рождеством и не сказка Шехеразады, не деревенские сумерки, не таежный костер. Миф двадцатого века складывался под электрической лампой, рядом с двумя «Спидолами» и рюкзаками, пропахшими бензином. Это была современность в ее лучшем понятии. Она контролировала рассказчика. Сказка доверчива и слепа. Наивна в нашей до дна реалистической жизни. Каждое слово бухгалтера было удивительным и живым. Может быть, потому, что слова были обыкновенными, даже слишком обыкновенными, чтобы быть выдуманными.

— Мой отец был крестьянин, — рассказывал старик, и мы видели, что его отец был крестьянин с таким же морщинистым, как у рассказчика, загорелым лицом, узловатыми, знавшими тяжесть земли руками. — И дед был крестьянин, — продолжал говорить старик, — и прадед тоже крестьянин. Наш хутор Завьяловский стоял за Доном, верстах в тридцати от станицы Ряжской. А до Белой Калитвы, станции на железной дороге, было от нас и того больше — сто верст. Степная буерачная глухомань, волчий угол — вот что представлял собой хутор. Керосиновая лампа, и та была в хатах редкостью... А случилось то, о чем я рассказываю, в 1914 году, летом. Только что началась первая мировая война — германская, как ее тогда называли, а у нас и того проще — «германская». Было мне тогда двенадцать лет, а сейчас мне, молодые люди, шестьдесят девять.

В жатву выезжали тогда на степь таборами. Что ни семья, то и табор с волами, телегами, ряднами, чтобы укрыться чем было и в обед от солнца загородиться: поднял оглобли, натянул на них холст или шерстяную полстину — вот вам и холодок... Нас, мальчишек, тоже брали на степь — волов пасти. Вечером жгли костры,

бабы хлопотали у семейных огней, и крепко пахло окрест сытным степным кондером...

Старик улыбнулся воспоминаниям. Не все, видно, было плохо в его детстве, пусть даже керосиновая лампа считалась редкостью.

— Вольница была, — пояснил он свою улыбку. — Особенно нам, ребятам. Печали доставались отцам: хутор наш был бедняцкий, населенный иногородними — «мужиками», как называли нас коренные казаки. Отцы арендовали землю у атамана Кобелева — тем и кормили семьи. А степь была хороша — костры, закаты, терна по сухим оврагам...

Старый бухгалтер говорил о степи с любовью. Видимо, эта любовь и гоняла его по Крыму.

— В один из вечеров, — продолжал он, — напозла на степь градовая туча. Разом погасило костры, загнало всех под телеги, под копны. Заревели быки, кидаясь из стороны в сторону — от града им прятаться было некуда. Забились в упряжках лошади. По таборам пошел шум, выскочили из-под телег мужики — скотину жалко. А град лупит всюю — небольшой, но густой, как картечь. Кто выскочил из-под телег, руками голову прикрывают, мечутся, собирают скотину. К счастью, градовая полоса была недолгой и узкой. Уже прояснились дали, завиднелся курган в полуверсте от нашего табора, речка; люди стали перекликаться — не зашибло кого?.. И в это время упало яйцо. Всамделишное яйцо: длинноватое, в белой скорлупе, только громадное, величиной с кадку. Оно упало под тем же наклоном, что град, — отдельные градины еще рассекали воздух — и запрыгало по степи как градина... Ударившись о груженный воз, яйцо завертелось, как вертится настоящее, когда его раскрутишь пальцами, определяя, вареное или сырое... А потом поднялось острием вверх да так и осталось — как неваляшка. Есть куклы такие: зальют им в основание олово, и тогда, как ни клади их на бок, все они становятся головой вверх...

Со всех сторон сбежались к яйцу.

— Ого! — слышалось там и тут. — О це градина!..

— Царь-градина! — разводили руками.

— Михайло, бачил такэ?.. — Хутор у нас был со смешанным говором, но сейчас говорили почему-то по-украински.

— Це-це-це!.. — цокали языками. — И стоит сторчмя!

— Так ведь оно теплое, мужики!.. — Кто-то прикоснулся к яйцу.

— Теплое?! — Не верили, но потрогать яйцо руками охотников не находилось.

Туча прошла. Отблеск заката осветил яйцо розовым светом. Легкий парок поднимался над скорлупой, яйцо словно дымилось.

— Не напирай, мужики! — загомонили кругом. — Ну как неровен час...

Люди попятились. Возле яйца образовался круг, переступать который никто не решался. Страх перед неизвестным заползал каждому в душу.

— Бог с ним, — говорили женщины и уходили к телегам. Мужики стояли молча, смотрели сосредоточенно. Яйцо курилось и, кажется, таяло. Толпа постепенно рдела.

И то глянуть со стороны: яичко величиною с бочку, дымится, горячее. На кого хошь страху нагонит. Бабки, бывало, найдут белемнит, «чертов палец», и то крестятся — громовая стрела. А тут чудо, упало в грозу, в том, что это не градина, все разуверились: град не бывает теплым. Знамение какое-то...

— Подальше от греха, мужики, — советовал староста. — Кто его знает, шо воно...

Ночью опять шел дождь, теперь уже обложной, мелкий и нудный. По таборам толковали, что к утру развезет и работать будет нельзя. Поглядывали на яйцо. Оно в темноте светилось неярко, но ровно. Никто бы не сказал, что оно светится, оно просто белело, но белело ярче,

чем, скажем, платок у бабы на голове, и если на него долго смотреть, а потом отвести глаза, то перед глазами оставалось пятно, как если бы посмотрел на огонь, а потом в сторону.

Никто к яйцу не подходил. Не было в помыслах его тронуть. Дождь все шел, и постепенно один табор за другим потянулись к хутору. Назавтра все равно не работа, говорили мужики друг другу. Но по тому, как ахали бабы, можно было судить, что люди боялись яйца, уходили в хутор... К рассвету на поле осталось несколько ребятишек да пары две волов, за которыми поручили ребятам присматривать, чтобы те не лезли в жнитво.

Я тоже остался с ребятами. Мы засели под копны по двое, по трое, вели разговоры:

— Мой батя говорит, что надо ехать до станицы к уряднику...

— А мой — закатить яйцуху в бочаг, речка вона!

— Что-то я не видал, чтобы твой батя подходил к яйцу...

— А твой подходил?

— Что, ребята, если нам его самим откатить?

— Так оно горячее!..

— Ты пробовал?

— Поди попробуй!..

Пробовать никто не хотел.

Рассвело в мутном дожде. Яйцо курилось, как побеленная печь, которая согревается изнутри. Оно казалось немного меньше, как будто за ночь скорлупа его утоньшилась.

Мы уже не спорили, тронуть его или не тронуть, сидели и ждали. Чего мы ждали? Никто не сказал бы чего. Ожидание росло в нас, как ветер, который вот-вот подхватит каждого, швырнет с места и заставит бежать без оглядки.

На какую-то минуту солнце прорвало пелену облаков. И яйцо в этот миг лопнуло. Раздался звон, будто раздавили стекло, скорлупа раскололась на куски, упала

на землю. На месте яйца сидел странный уродливый человек. Он тотчас распрямился и стал выше. У него была круглая шишковатая голова, похожая и непохожая на металлический шлем. С одной и с другой ее стороны, там, где должны быть уши, виднелись круглые выступы, похожие на блюдца, затянутые блестящей решеткой. Между этими выступами-ушами была узкая щель, в которой от одного конца к другому двигались короткие трубки, заделанные стеклом. Рта, подбородка не было. Нижняя часть головы круглилась, как полушар, упиралась в короткую шею. У человека была грудная клетка, выпуклая на спине и плоская, как донышко таза, впереди. У него были руки, ноги на широченных ступнях.

Когда все это предстало перед нами, мы сомлели от страха. Мы были пригвождены к земле под своими копнами, не смели двинуть рукой, ногой. Мы только смотрели, тарасили изумленно глаза.

Между тем человек, распрямившись и топча железными ногами скорлупу — она трескалась под его тяжестью и звенела, — повернулся сначала к солнцу, потом в противоположную сторону, потом в две других, словно определяя стороны света, поводит в своей щели застекленными трубками и, осторожно подняв ступню, шагнул к нам.

— Железный солдат!.. — крикнул дурным голосом кто-то из ребятишек, и все мы, как перепелки, выпорхнули из-под копен и кинулись в хутор.

— Железный солдат!! — Теперь мы орали все, потому что, когда кричишь, не так страшно, чем если мчишься молча.

С этим криком и залетели в хутор.

Дальше все покатилося как камень, пущенный под гору. Хутор только и ждал искры, чтобы полыхнуть весь сразу.

— А-а-а!.. — раздалось из конца в конец. Голосили бабы, орали мужики друг другу через дворы. И мы про-



должали кричать, и уже казалось, что в поле не один железный солдат, а по меньшей мере рота. Ну как сожгут, вытопчут хлеб!.. Древний страх мужика за хлеб проснулся в каждом и каждого поднял на ноги. Он дремал, этот страх, всю ночь, копился в невысказанных словах, да и слов этих не было, чтобы высказать человечески. И теперь страх вырывался из каждого криком:

— Дава-ай!..

Вооружившись кто чем, мужики бросились в поле. Бежали порознь и группами, но так как передние, те, кто увидел солдата первым, оробев, ожидали, пока подтянутся остальные, они могли видеть, что солдат ходит по полю кругами. Он уже вытоптал порядочную площадку. Его широкие металлические подошвы увязали в разжиженном черноземе, втапывали в землю колосья и жнивю. Там, где ему под ноги попадались прокосы хлеба, они тоже были затоптаны и смешаны с грязью.

В быстро густевшей толпе слышались восклицания:

— Смотри, сколько напакостил!..

— Ах ты хамлюга!

— Вытопчет всю пшеницу...

— В колья его, ребята!

Солдат словно почуял толпу, остановился. Плоская его грудь осветилась зеленым светом. По ней пошли какие-то знаки. Металлические трубки из щели на голове уставились в глаза мужиков — рассматривали людей в упор. Некоторые мужики сняли шапки, стали креститься. Другие, набираясь храбрости от того, что толпа прибывала, кричали:

— Дать ему, мужики!

— Уставился, дьявол, зенками!..

Толпа угрожающе двинулась к железному человеку. У того на груди все так же плыли треугольники и круги. Но вот и они погасли. Человек, кажется, потерял интерес к толпе, отвел в сторону глаза-трубки и так же медленно, как прежде, двинулся по кругу, высоко поднимая ступни и шлепая ими по влажной земле.

— Опять стал хлестать, ребята! — крикнул тонкий, дрожащий по-бабьи голос. — Что же такое будет?..

Круг шествия железного человека расширился. Вот он коснулся некошеной пшеницы, свалил несколько колосков. Полоса принадлежала Титкову Ивану.

— Мужики-и-и!.. — завопил он, пробиваясь в передний ряд. В руках у него был железный шкворень — заноза, которую вставляют в ярмо, заналыгивая быков.

Его крик подхлестнул толпу, и без того настроенную враждебно. Металлический человек, все так же высоко поднимая ступни, шел по кругу, расширяя его. Толпа охватила часть круга серпом, ошестинившись колями. Человек опять подошел к полоске Титкова, вмял в землю пучки колосьев.

— Ах ты вражина!.. — взвизгнул Титок и хрястнул занозой металлического человека по голове.

Раздался звон, человек покачулся.

— Бей! — заорали со всех сторон.

Удары колями и занозами обрушились на железного человека. Что-то металлически звенело, трескалось в нем, слышалось хеканье мужиков, вкладывавших в удары всю силу, будто они кололи дрова.

В пять минут все было кончено. От человека осталась грудa железного лома, смешанная с колосьями пшеницы и с грязью. Вгорячах мужики вытоптали половину поля Титка. Но никто не заметил этого. Останки металлического человека взвалили на колья, отнесли к реке и сбросили с кручи в бочаг. Речка после дождей прибыла, под кручей крутились водовороты...

— Может быть, это был человек в скафандре!.. — сказал вдруг Виктор, перебивая рассказчика.

— Может быть, — согласился тот, — все может быть, если верить, что мы не одни во вселенной.

— Валька, ты веришь? — спросил Виктор у Корзина.

— Верю... — ответил тот, застигнутый вопросом врасплох.

— А ты, Сергей? — обратился Виктор ко мне.

— А ты?.. — спросил я.

Виктор обернулся к старику.

— Что было дальше? — спросил он.

— Погломонили мужики, посовались взад и вперед по полю, вытоптанному металлическим человеком, вернулись в хутор. Мы, ребята, тоже обшарили поле — ничего не нашли. Видно, яйцо было сделано из такого материала, что испарялся он в воздухе без следа...

На другой день опять работа, жнива. Ни разговаривать, ни вспоминать про железного солдата было некогда. Доносить по начальству староста не решился: наедут с дознанием, оторвут от работы, а хлеба на корню — убирать надо, каждый час дорог. Хутор наш на отшибе, ни к нам кто, ни мы к кому, авось так и пройдет, забудется.

Однако слухок про железного человека пополз по хуторам, добрался до станицы. Бабы сболтнули, а может, из мужиков кто по нетрезвому состоянию, только на тринадцатый день пожаловал в хутор урядник Тихон Карпович, грузный мужчина, при сабле и револьвере, охотник захмелиться, побалагурить и пострашать степняков властью, данной ему от царя и от бога. Умастили его хуторяне вместе со старостой, не пожалели спиртного, припасенного, когда винные магазины — монополии — были еще открыты; с начала войны магазины те позакрыли, получилось вроде сухого закона... Для урядника закон отменили. Смеялся Тихон Карпович до икоты, одобрял мужиков:

— В бочаг его! Правильно, хо-хо-хо! К шукам его!.. Может, это шпиев немецкий?.. — Урядник принимал нарочито свирепый вид, грозил мужикам: — Шуму поменьше! До высокого начальства дойдет, постоем задавят вас. В Ряжской полк солдат разместили, в Марьинской тоже. И к вам пришлют на постой: шуму поменьше!..

Тихон Карпович отбыл. Война, мобилизация обезлюдели хутор наполовину. Разговоры про железного чело-

века умолкли. Только старики, сказывая внучатам сказки, вспоминали порой о небесном яйце, но уже сами не помнили, где здесь было, а где небыль... Да еще у нас, у бывших ребят, остались воспоминания.

— Как ваша фамилия, папаша? — спросил Виктор.

— Кумраев меня зовут, Дмитрий Яковлевич.

— А хутор-ваш и теперь стоит?

— Стоит. Был я там четыре года тому назад, — теперь живу в Батайске, у сына. И бочаг видел. Не бочаг уже — речка высохла: левады вырубили, речка и высохла. Круча, с которой бросали железного человека, стоит, а внизу куга растет да камыш не выше, чем колове по брюхо.

— И вы никому не рассказывали про железного человека? Может, это был марсианин?.. — допытывался Виктор.

— Никто рассказу не верит, — оправдывался бухгалтер. — Лет сорок тому назад — другое дело: тогда по деревням верили во всякую нечисть. Например: едет ночью телега, и вдруг за ней колесо катится. Возчик крутит кнутом, лошади в мыле, а колесо не отстает, как привязанное... Тогда и мне верили про железного человека. А теперь другое время, другие песни. И я уже никому не рассказываю. Вам вот только — и то к слову пришлось.

Валентин тихо посапывал на кровати. У меня тоже слипались глаза, я отвернулся к полотняной стене палатки. Виктор продолжал спрашивать старика о чем-то еще. Перед утром я слышал, как старик выходил из палатки и топал за стенкой, делая утреннюю гимнастику. А когда мы с Валентином проснулись, Виктор уже был на ногах, заправил машину, заплатил за ночлег, и техслужащая пришла принять от нас наволочки и простыни.

— Где старик? — спросил я.

— Странствует, — коротко ответил Виктор.

— Закатил он нам вчера историю... — отозвался Валентин, в руках у него были зубная паста и щетка.

— Вы, ребята, приводите себя в порядок, — сказал Виктор, — разговаривать будем после. Вот наше, — обратился к техслужащей. — Одеял — три, наволочек — три...

Горячее крымское солнце входило в открытую дверь палатки. История о небесном яйце и металлическом человеке рассеивалась вместе с остатками сна, исчезая из памяти, как исчез с глаз старый бухгалтер.

— Странствует... — повторил Валентин. — Ну и пусть странствует. Мне бы сейчас яичницу с колбасой. Как ты, Сережа, насчет яичницы?..

В стеклянном кафе, похожем на ледяной зеленоватый кристалл, в ранний час народу было немного, в пустом зале разговаривать почему-то хотелось шепотом. Витька вообще не говорил ни о чем. Валентин перечитал вслух меню сверху вниз, потом снизу вверх и, не находя темы для разговора, умолк.

Официантка принесла наконец яичницу. Все углубились в еду.

— Мне понравился Тихон Карпович, — безо всякой связи с яичницей сказал Валентин. — Как он про этого солдата — шпиен немецкий...

Виктор опять промолчал. Мне не хотелось поддерживать ночной разговор. С Валентином я не был согласен: Тихон Карпович мне не понравился. Вдруг Виктор поднял голову от тарелки:

— Меняем маршрут, ребята, лады?

— Почему меняем маршрут? — спросил Валентин.

— Едем на хутор Завьяловский.

— Ты что, Витя?..

— А ты хочешь упустить такой случай? — ответил Виктор.

— Какой?..

— Не поискать марсианина?

Валентин беспомощно огляделся по сторонам. А я подумал: почему марсианина?..

Виктор достал из кармана смятую карту, исчерканную карандашом.

— Вот Крым, — сказал он. — Вот Ростов, Белая Калитва. А вот Завьяловский, видите точку?.. — В стороне от Белой Калитвы на карте стояла вдавленная карандашом точка. — Завтра к вечеру будем на месте, — заверил Виктор. — А карту мы со стариком исчертили... У администратора я справлялся: с паспортом у старика все в порядке, выдан на имя Кумраева Дмитрия Яковлевича. Его тут и так знают — он не первый раз в кемпинге. «Трепач?» — спросил я. «Нормальный старик», — ответила администратор. Я тоже думаю, что нормальный. Как он рассказывал, помните? Не верится, чтобы врал. Вот фамилия: Пахомов В. Г. — Виктор указал на нижний ободок карты. — Это его сверстник в Завьяловском, Виктор Гаврилович. Он подтвердит всю историю и покажет кручу, с которой кинули железного человека. Махнем?.. — Виктор поглядел в лицо мне, Валентину. — Не все ли равно, как отдыхать? — спросил он. — Покопаем немножко, поработаем...

Зал заполнялся шумом и говором. Гремели стулья, смеялись девушки. Лишь над нашим столом висела острая, как топор, тишина. «Очнись...» — говорили глаза Валентина, уставленные на Виктора. Не ручаюсь и за свои глаза. Что-то, наверное, доходило до Витьки. Обычная уверенность в его голосе испарилась. Мальчишеским просительным тоном он повторил:

— Поедем, ребята!

Тут только мы поняли, что у Витьки это всерьез. Может быть, впервые за пять лет, в которые мы знали друг друга, в нем открылась мечта. Может, и человек-то перед нами открылся по-настоящему.

— Поедем... — повторял он.

И может быть, впервые мне захотелось уважить его не меценатски, не свысока, как когда-то, давая ему переписать задачу или конспект, уважить товарища от души.

— Поедем! — сказал я.

Теперь мы объединились против Валентина вдвоем. Он с сожалением поглядел на нас, но, видя, что спорить с нами — попусту терять время, махнул рукой.

Виктор преобразился.

— А теперь план поездки! — воскликнул он. — Предлагаю немедленно закупить продукты. Сколько у нас наличными?

Мы вывернули карманы. Набралось сто шесть рублей.

— Давайте в общий котел.

Мы сдали Виктору деньги.

— Купим необходимое — хлеб, консервы. Мало ли каких ресторанов, соблазнов встретится на пути. Оставим только на газировку. Без сиропа. Во-вторых, купим запас бензина. Нальем полный бак и запасную канистру. Купим талоны: километраж у меня подсчитан, расход горючего я знаю. И еще дадим телеграмму.

Виктор вырвал из блокнота листок и стал писать: «Дорогой папа, прости за угон машины. Едем разыскивать марсианина. Тут такая история, можно сказать, глобальная. Жди интересных вестей. Твой Виктор».

— Раз, два, три... — пересчитал он слова. — Ровно двадцать. Считая по три копейки за слово — шестьдесят копеек: телеграмму пошлем простой, чтобы деньги зря не транжирить... Почтовый сбор десять копеек. Всего семьдесят. Не много? — Виктор вздохнул. — Ничего не поделаешь...

Мы сделали все по плану: отправили телеграмму, купили консервов и хлеба — лопаты, пожалуй, найдем в Завьяловском, — закупили полный запас бензина. Оставили денег только на газировку, как советовал Виктор, и, заправив машину, выехали из Симферополя по северному шоссе.

«Волга» летела как птица. Транзистор на этот раз молчал, мы тоже молчали, переживая торжественность момента.

Вообще день выдался молчаливым. Но если бы хоть чуть-чуть поскрести каждого и заглянуть, что там, внутри у нас, честное слово, у всех было одно: а если старик прав, если металлический человек был?.. Витька заразил нас уверенностью. Но если бы в каждом не звенела тайно мечта о необычайном, никакие убеждения товарища не подействовали бы. Мы не поехали бы, и все.

Если уж быть до конца откровенным, то за бравадой Валентина и за моим молчанием весь день скрывалась боязнь: не сболтнуть о железном солдате, не показать себя дураком перед другими. А Витька не побоялся! Все у него выходит начистоту, всюду он прав: не все ли равно, как отдыхать?..

Дорога, дорога... Забегая вперед, скажу, что до Завьяловского мы доберемся, найдем Пахомова, кручу, с которой кинули железного человека, будем копать под кручей, ничего не найдем. А пока мы едем, молчим. Но мы разговоримся, не такая тема, чтобы относиться к ней молча. Откристаллизуется мысль, и разговор начнется. Хотя бы я и начну. А может быть, Валентин? Подождать, пока Валентин?..

Не заговорил, однако, никто.

Позади нас раздался гудок. Кто-то на скорости, большей, чем наша, обгонял «Волгу». Виктор сдал в сторону, ближе к кювету. Синий милицейский мотоцикл пролетел мимо, нам подали знак остановиться. Виктор сбросил газ, через секунду машина стала.

Старший инспектор милиции — за ним маячили еще двое — подошел к «Волге».

— Виктор Яковлевич Казанский? — спросил он, козырнув Виктору.

— Я... — ответил Виктор, ничего не подозревая: правил уличного движения, насколько он помнил, с утра он не нарушил ни разу.

— Машину приказано задержать. — Инспектор опять козырнул Виктору.

— Почему? — спросил Виктор.



— Кому принадлежит эта машина? — Инспектор наклонился к нему.

— Моему отцу...

— Якову Аполлинарьевичу Казанскому, — добавил инспектор.

— Да... — растерянно произнес Виктор, начавший кое-что понимать.

— Освободите машину, — кивнули нам помощники инспектора. — Возьмите личные вещи.

Мы с Валентином вышли. Подумав секунду, Валентин потянул за собой рюкзак с консервами. Я распахнул багажник и вытащил сумку с хлебом.

— Вы тоже выйдите, — предложил Виктору инспектор.

Виктор вышел, взяв по привычке транзистор.

— Но по какому праву? — воскликнул он.

Инспектор развернул перед ним телеграмму. Из-за Витькиного плеча я успел прочитать две строки: «...проучить его, шалолая, оставить на дороге, как есть. Директор треста Я. А. Казанский».

— Будьте добры... — Инспектор отстранил Виктора на шаг от «Волги», тот подчинился молча.

Хлопнула дверь. Два помощника инспектора пошли к мотоциклу. Они так и уехали: мотоцикл впереди, за ним плененная «Волга».

Солнце садилось, согревая степь нежаркими косыми лучами. Шоссе лежало ровное, как линейка. Ни одной машины не было на нем от горизонта до горизонта. Тишина струилась неимоверная, пронизывала и опустошала нас, делая невесомыми. Чтобы не расплыться, не испариться в ней, Валентин сказал:

— Бензиновые талоны уехали...

— Чертов папаша! — Виктор яростно погрозил в ту сторону, куда скрылись «Волга» и мотоцикл. Однако он тут же успокоился и, загибая пальцы, начал подсчитывать: — Консервы есть, хлеб есть, транзистор есть...

Степь лежала огромная, и мир был огромным; тиши-

на опять навалилась на нас, и опять, чтобы не раствориться в ней, Валентин спросил:

— Как будем добираться до Калитвы?

— На поездах зайцами... — буркнул Виктор.

Жизнелюбцу Витьке все давалось легко. Молча он разворачивал карту — где тут ближайшая железнодорожная станция?

## ОТКРЫТИЕ

— Я не о том, — заметил Сергей. — Не о числах и доказательствах. Числами можно измерить вес Юпитера и Плутона, расстояние до Полярной звезды. Числа — это точность и сухость. За ними количество.

— Не понимаю тебя, — призналась Тамара.

— Чего проще: трижды три — девять. Таблица. Я предпочел бы девять людей — девять личностей, судеб...

— И что?

— Сущность предмета.

— У предметов есть составные...

— Молекулы, атомы? — засмеялся Сергей.

— Ты не знаешь, чего хочешь! — рассердилась Тамара.

— Знаю!

Сергей отошел от стола. В окна лаборатории врывалось солнце. В сквере за окнами хозяйничала весна: дышала на комы снега — появлялись ручьи, касалась деревьев — вздувались и набухали почки.

— Знаю, — повторил Сергей. — И не отрицаю точность науки. Но вот настроение — какой мерой его измеришь?

— Скепсис... — недовольно сказала Тамара.

— И скепсис тоже измерь.

— Ты не в себе, Сережка.

Пожалуй, она права. Сергей сбросил халат. Кивнул Тамаре, вышел из комнаты.

О чем, собственно, спор, рассуждал он, идя по коридору. Тамара — специалист, математик. Сергей любит ее. Но числа и цифры Сергей не любит. Пусть они хороши, числа, полезны. Все это Сергей сознает, но чисел не любит. Может быть, потому, что у Сергея специальность, далекая от математики? Психология. Даже парапсихология, хотя «пара» вызывает у многих недоумение и усмешку. Тамара нет, не смеется. Но Тамара и психологию хотела бы переложить на язык математики.

В вестибюле Сергей оделся. Сошел по ступенькам и подождал такси.

— В музей Скрябина, — сказал шоферу, усаживаясь с ним рядом.

В доме-музее композитора Скрябина Сергей походил по комнатам. Посидел на софе. Ему надо было посидеть на софе. В музее никого не было. Здесь редко появляются посетители. И хорошо, что редко, думал Сергей. Ему надо посидеть одному. Старушка-смотрительница не в счет. Она хорошо знает Сергея. Сергей здесь не впервые. Но Сергей для нее не вполне понятен. Другие придут, осмотрят рояль, портреты, вещи прошлого века и уйдут. Навсегда. Этот высокий долговязый человек приходит в музей часто. Ничего не смотрит. Вернее, уже осмотрел все. Сядет на софу и сидит час, другой. Молчит. Даже прикроет глаза. Может быть, у него несчастье? Может, он болен?

Однажды он обратился к смотрительнице с вопросом:

— Что вы чувствуете?

Старушка с недоумением подняла на него глаза.

— Здесь, в этом доме? — уточнил долговязый.

— Чувствую музыку, — ответила смотрительница.

Ответ, кажется, удовлетворил посетителя.

Зато он заставил смотрительницу задуматься. Правильно ли она ответила — чувствую? Музыку слушают, создают. Но чувствовать... Это ведь не тепло и не холод.

Однако зрительница чувствовала ее и пришла к выводу, что ответила человеку правильно.

Сергей тоже был удовлетворен ответом зрительницы.

Вот и сейчас он сидит. Нет, он не дремлет, хотя глаза его закрыты. Не думает хотя бы о споре с Тamarой. Сергей слушает.

Ни шум машин за окном, ни звон капли по козырьку подоконника не мешают ему. Он слушает внутренним слухом.

Началось это давно и определило судьбу Сергея. У него большая родня: дед по матери, Углов Петр Сергеевич, геолог и путешественник. Дед по отцу, Иван Владимирович, астроном; дядя, Карп Анатольевич, конструктор, другой дядя, Михаил Анатольевич, физик-атомник, еще дядя — сотрудник посольства. А еще тетки, двоюродные братья, сестры... В большинстве талантливая родня. Разносторонняя. И наверно, в детстве Сергей хотел стать похожим на каждого из них. Бывал у Петра Сергеевича, чувствовал себя путешественником, у Ивана Владимировича — астрономом. У других конструктором, физиком. Но то в детстве: пора незрелости, подражания. Потом, когда Сергей окончил институт и стал работать по специальности, у него появились свои заботы, вопросы.

Почему, например, в Михайловском живешь пушкинскими стихами? Вовсе не потому, что с детства знаешь «У лукоморья», «Зимнее утро». Стихи приходят сами, наплывом, прочитанные давно или услышанные случайно, но никогда не перечитанные позже. В Колтушах думаешь о высшей нервной деятельности, об опытах Павлова. В Казани, в библиотеке Лобачевского, о пространственной геометрии, хотя она никогда не увлекала тебя. После посещения библиотеки, помнит Сергей, неизвестный ему толстенький человек заговорил вдруг о теории параллельных линий. А потом в автобусе — ехали они вместе — выяснилось, что человек этот колхозный бухгалтер.

тер, имеет образование девять классов и курсы, имя Лобачевского слышал в жизни два, может, три раза.

Почему так бывает? Сергей как психолог старается в этих случаях разобраться. Ставит опыты над собой.

В квартире-музее тихо. Небольшой неназойливый свет: за окном погода переменялась, надвинулись облака. Никто не стукнет, не скрипнет подошвой о пол. Смотрительница дремлет в гостиной. Раскрыт рояль, ноты.

Сергей не увлекается музыкой. Не увлекался раньше, в многочисленной родне музыкантов нет. Нельзя сказать, что он не знает музыку. Чайковского, Шостаковича — по обычным концертам. Скрябина не знал никогда. Его музыку услышал здесь, в квартире-музее.

Михайловское, Колтуши. Потом квартира-музей Скрябина. Вот так: сидеть, полускрыв глаза, слушать. Слышать.

Больше: когда звучание станет полным, устойчивым, записать.

Первую запись Сергей сделал больше года тому назад. Отнес в консерваторию. Преподаватель Тахов взглянул на запись, сказал:

— Скрябин, «Поэма экстаза».

Прибавил:

— Записано варварски. И зачем?

Сергей внутренне ликовал.

Но он не успокоился на разговоре с Таховым. Познакомился с музыкантами, которых ему порекомендовали друзья.

Музыканты сказали то же:

— «Поэма экстаза».

Сергей продолжал ходить в квартиру-музей. Продолжал слушать, записывать. Когда получалось цельное, показывал своим новым друзьям.

«Прометей», — определил один. Другой сказал: «Поэма огня».

Сергей был обескуражен. Но когда узнал, что «Про-

метей» и «Поэма огня» одно и то же, понял, что он на верном пути.

Опять ходил и записывал. Опять, наверно, по-варварски. Когда вторично наткнулся на Тахова, тот при виде записи не мог сдержать усмешку. Но тут же выхватил листки из рук Сергея:

— «Мистерия»! — Пробежал записи раз и другой, впился зрачками в глаза Сергея: — Этого у Скрябина нет! Но должно быть! Как вы узнали?..

Сергей попробовал отобрать листки.

— Как вы узнали?.. — повторил Тахов.

Усадил его рядом с собой:

— «Мистерия» не закончена Скрябиным. Композитор задумал грандиозное произведение. «Поэма экстаза», «Поэма огня» — часть задуманного. Известно общее направление замысла, есть отрывки. То, что записано вами, продолжение замысла. Это подлинный Скрябин. Но уже после смерти. Вы чародей?..

У Сергея от разговора ходили по спине мурашки.

— Минуту! — Тахов схватился за карандаш, начал копировать. — Господи!.. — приговаривал он при этом, — Возможно ли?

Сергей не возражал, пусть копирует. Но пока за столом шла работа, Сергею пришел очень ясный и определенный вывод: после смерти людей надолго, может быть, навсегда, остаются и живут их мысли и замыслы.

Встреча с Таховым — это вчера. А сегодня разговор с Тamarой — путанный спор. Не надо было о Юпитере, о Плутоне. Расстроил Тamarу.

Но и это прошло. Сергей в квартире-музее. Тишина, и ему хочется отдохнуть. Послушать то, чего не было никогда, неведомое.

А с Тamarой следует помириться.

После обеда позвонил телефон:

— Сергей, мы поссорились?

— Нет.

— Я не хочу таких разговоров.

— Это рабочие разговоры.

Молчание. О чем она думает? Надо сейчас же сказать что-то простое и примирительное. Но Тамара говорит первая:

— Сергей, я одна.

Это означает, что Тамара хочет в театр, в цирк — побыть среди людей.

— Встретимся на Цветном, — отвечает Сергей, — через час.

Встречаются раньше. Не все ли равно, кто приехал первый?..

Идут по аллее, молодые и стройные. Тамаре двадцать четыре года, Сергею тридцать. Они знакомы год с небольшим. Тамара работает в вычислительном центре, Сергей — в институте прикладной психологии. Они любят друг друга. Они спорят друг с другом.

Почему это получается?

Они молоды.

Они полны идей.

Но сейчас Тамара тише воды, слушает Сергея. Дала себе обещание не разжигать споров. Вечер хорош. Облака разогнало, будет звездная ночь.

Сергей говорит о Лобачевском, о музыке Скрябина:

— «Мистерия» вошла в меня, я слышу ее аккорды, финал!

— Вывод? — коротко спрашивает Тамара.

— Мысли живут, существуют в реальности. Может быть, они сгустки энергии, биоплазма, может, электромагнитные колебания. Но они живут с нами и после нас в помещениях, в бумагах, в вещах...

Сергей на секунду останавливается и добавляет:

— Хорошо, что есть музеи. Надо побольше музеев.

— Хорошо, — Тамара соглашается с ним. Спрашивает: — Что может дать такая теория? Практически?

— Многое. Сколько людей уходят с недосказанными словами, идеями. Сколько потеряно замыслов и откры-

тий! Узнаем, как была бы завершена «Человеческая комедия» Бальзака. Узнаем завещание Калиостро. Гоголь наконец. Содержание второго тома «Мертвых душ», который он сжег. Ненаписанный третий том!..

Конечно, Сережка прав, хотя и говорит необыкновенные вещи! Кроме того, перед встречей Тамара приказала себе не ввязываться в полемику.

В конце концов увлекается и Тамара:

— Ферми, Королев... У всех недосказанное, неоконченное. Жизнь так мала!..

Они проходят Цветной, поворачивают, проходят опять. Пахнет набухшими почками, талой землей. Это запах весны, надежд. Жизнь впереди кажется нескончаемой.

Она и была нескончаемой: восходы, закаты, весна и лето, улыбки детей, любовь. Сергей писал диссертацию. Заголовок он еще не придумал, но первые листы дались легко, к осени он намеревался закончить работу. По-прежнему навещал музей-квартиру композитора Скрябина; бывал в консерватории, старался глубже вникнуть в музыку. Строил дальнейшие планы — ехать в Пятигорск, в домик Лермонтова...

Неожиданно прибежала Тамара:

— Умер Ливанов!..

— Радий Петрович?..

— Да. У себя в кабинете. Сердце...

Сергей знал Ливанова: директор счетного центра, теоретик, трудами которого немало двинута отечественная техника.

— За рабочим столом, — продолжала Тамара. — Бумаги, неоконченный труд — все осталось как было.

— Жаль старика, — сказал Сергей. — Такая смерть...

— Больше, Сережа: статья не окончена. Не прописана функция...

— Какая функция?

— Вычислимая функция. Ну понимаешь... из теории



алгоритмов. Ливанов искал универсальную формулу. Может быть, он нашел ее.

— Может, и нашел...

— Думал над ней, Сережа!

— Ты хочешь сказать?..

— Хочу! Помоги!

Сергей качает головой: математика...

— Сережа! — умоляет Тамара. — Мы просим — вычислительный центр. Хочешь, придем к тебе все?

У Сергея жердочка под ногами: пройти. Пройдешь, жердочка превратится в мост... Но ведь одно — тихий музей, «Мистерия». Другое — цифры и математика!.. В то же время пройдены годы усилий. Надо же где-то сказать: да!

Сергей идет с Тамарой в вычислительный центр.

Ходит два месяца. Не в лабораторию Тамары, не на свидания с ней — в кабинет бывшего директора Ливанова.

Садится за стол. Берет в руки вещи Ливанова, книги. Думает, слушает.

Ему создали условия: никто его не тревожит и не тревожит. Никто не подсказывает. На этом настоял Сергей. По его убеждению, предмет надо постигать с начала.

Так и с вычислимой функцией. Сергей усвоил, что это основное понятие из теории алгоритмов. Понял, при каких условиях она применима к объекту, при каких неприменима, что значит конструктивные объекты в математике; когда функция может быть вычислимой и когда она вычислимой не является. И когда рассматривается как функция натурального или рационального аргумента. Обо всем этом раньше Сергей не знал. Но так же, как в музыке Скрябина, разобрался. Тамара помогала ему, если он ее спрашивал. Прерывал, когда Тамара забегала вперед. Странно, как и музыка, математика звучала в его уме. Очевидно, математика, музыка в основе имеют одну и ту же гармонию.

Одновременно Сергей прислушивался к себе: как идет

процесс познания, может быть, прозрения. Это, пожалуй, сравнимо с рассветом. С медленным туманным рассветом. Математические начала, функции открывались не сразу. Сперва — Сергей бы определил — близкие, крупные, потом, когда прибавлялось света, прояснялись детали более мелкие, дальние. Туман колыхался перед глазами, открывал что-нибудь справа, слева или не открывал ничего: не назовешь тьмой, но что-то зыбкое, неразборчивое. Иногда это сразу же исчезало, снова покрывалось туманом. Иногда оставалось. То, что оставалось, было обязательно значимым, открытым. Так работала мысль. Не его, Сергея, Ливанова. Он шел за мыслью ученого, и — странно — то, что видел Сергей как значимое, оставалось при нем завоеванным, закрепленным. Незнакомое прежде становилось знакомым, непонятное — понятным. Сергей мог записывать формулы и слова, он записывал, но это были не его формулы и слова. В то же время они становились как бы его собственными.

Процесс был сложен. Иногда ничего нельзя было рассмотреть, приходилось вглядываться, естественно, внутренним взглядом. Порой это было мучительно, как ребенку, попавшему в аудиторию, где читаются лекции для высоких специалистов.

Но Сергей ходил в кабинет Ливанова. Его бодрило, что в записях, которые он делал, был смысл, — с Тamarой он консультировался, хотя и просил ее до времени ничего не говорить о его успехах и неудачах.

Только при этом, когда ищешь, добираешься до смысла, заметил Сергей, надо концентрировать волю, хотеть. Быть терпеливым: порой приходилось по тропинке неведомой мысли проходить по десять и по двадцать раз.

Не было голоса, не было разговора. Был процесс мысли. Из этого Сергей сделал вывод, что мысль безгласна. Но мысль жива. Иначе как бы Сергей освоил теорию алгоритмов, вычислимую функцию?

А математика — это музыка. Формулы — музыка.

Каждый знак, цифра имеют свой тон. В обычной музыке семь нот — от нижнего «до» до «си». В математике тонов неизмеримо больше. Это удивляло и радовало Сергея.

Постепенно Сергей подошел к последней статье Ливанова. Он не читал ее. Наоборот, с первого прихода в кабинет попросил убрать ее со стола. Статья сама складывалась в его уме. Слово за словом, как кружева под пальцами кружевницы. Это был интересный процесс — творческий и в то же время настолько завершенный, что, если Сергей пытался поставить свое слово (порой ради эксперимента он пытался делать это), слово не подходило, не вставало на место, как непригнанная зубная коронка. Сергей сделал вывод, что чужую мысль нельзя изменить, перестроить, это тоже впоследствии вошло в теорию. Статью он довел до конца, формула вылилась на бумагу сама собой.

Подлинным торжеством было то, что текст, написанный Сергеем, совпадал с текстом ученого. Сергей даже не заметил, как появилась формула. Ему пришло в голову, что Ливанов радовался бы, ликовал — формула найдена. Но у Сергея она вылилась механически. Из этого Сергей сделал заключение, что мысль неэмоциональна. Эмоции приходят к человеку потом так же, как волнуют его во время работы при неудачах, впустую прошедших усилиях. Мысль не знает эмоций, так отметил Сергей у себя в блокноте. Сам он будет радоваться после, когда завершит статью. Сейчас он смотрел на формулу, обвел ее рамкой — работа окончена.

Эксперты, изучавшие текст, подтвердили — для Сергея это было триумфом, — что стиль статьи ливановский, формула ливановская. Статью мог закончить так, как закончил ее Сергей, только Радий Петрович Ливанов!

Сергея поздравляли. Ему удивлялись. Но Сергей был под впечатлением произведенной работы. Перебирал в уме пути, которыми пришел к формуле, тупики, прова-

лы, которые ему встретились. В работе он убедился, что прежние его догадки и гипотезы правильны. Теперь он искал метод работы. Предстояло еще многое понять, нащупать. Но есть уже опыт. Есть заметки, которые он сделал за два месяца в кабинете Ливанова. Надо их осмыслить и обобщить. Впереди задачи еще более грандиозные. Надо приступить к ним немедленно. Музей декабристов в Иркутске, философские тетради Ленина — Сергей набрасывал планы на будущее.

Тамара тоже поздравила его, удивлялась:

— Как тебе удалось с этим справиться? — Они опять шли по Цветному. — Ты всегда не в ладах с цифрами!

Сергей пожимал плечами: тогда, на прогулке, он все объяснил Тамаре.

— Сережка!

Он опять промолчал.

— Ты не зазнаешься? — спросила Тамара.

— По-моему, это может сделать всякий, — сказал Сергей.

— ??..

— Надо только развить в себе способность сосредоточиваться, развить внутренний слух.

— А я смогла бы? — спросила Тамара.

— И ты и каждый. Только способности, наверное, у всех разные.

Сергей вспомнил толстяка, толковавшего теорию Лобачевского. Вспомнил других, на которых Пушкин и Лобачевский производят меньшее впечатление. Но все равно производят.

— Да, — повторил он, — все зависит от тренировки, от способностей человека.

— Как измерить эти способности? — спросила Тамара, она все-таки была математиком.

Ответить на этот вопрос? Сергей раздумывал — как.

— Баллами? — допытывалась Тамара.

Сергей засмеялся:

— Для начала, возможно, баллами...

## ЛИЦА

Ленг поднял голову. Не как обычно, когда смотрел на горы, на лес. Не так, как вглядывался в них, перенося кистью на полотно. Что-то его встревожило. Мимолетно — как тень, скользнувшая вдалеке. Показалось?.. Все кругом было тихо: поляна, река, за рекой скалы — обыкновенное, как всегда. К шуму реки он привык, не замечал его и сейчас не заметил.

Но тревога не проходила.

Может быть, она идет из души? Да и тревога ли это? Две недели Ленг чувствует равновесие, успокоенность. И упоенность работой. С тех пор как он приехал сюда, на Кавказ, все отошло от него: городские заботы, разговоры друзей. Пришли труд и успокоение.

Он сам выбрал эту долину. Дорога кончалась здесь. Дальше машины не шли. И люди тоже не шли. Дальше был заповедник. Поселок, в котором остановился Ленг, насчитывал едва десяток домов. Когда-то здесь была шахта. После войны шахту закрыли, рабочие разъехались кто куда. Поселок обветшал, замер. Осталось несколько стариков, привязанных к месту, они и поддерживали здесь искорку жизни. Зато сколько простора, солнца было в долине! И какая река!

И как хорошо работается!

Ленг берет краску, набрасывает мазки.

И вновь им овладевает тревога.

Солнечный день, поют птицы! Ленг откладывает кисть на камень: здесь краски, холсты. «Птицы...» — повторяет он мысленно, стараясь разобраться в своих ощущениях.

И вдруг его бросает в дрожь, словно чья-то рука ложится ему на плечи: с картины, которую он пишет, на него смотрит лицо!.. Секунду Ленг не может оторвать глаз: откуда лицо?..

Не сразу Ленг понимает, что лицо не появилось само собой. Ни о чем таком он не думал. Не сразу ото-

рвал взгляд от холста. Он писал скалы. Первый раз писал скалы. До этого на холсты ложились река, поселок. Ленг поднял глаза. Скалы висели на недосыгаемой высоте. Обыкновенные скалы, в трещинах и буграх. Наверно, никто и не смотрел на них. И Ленг по приезде не всматривался. Но сейчас художник призвал всю зоркость. И второй раз за какую-нибудь минуту его пробрала дрожь. Среди сколов и выбоин, ржавых натеков он рассмотрел лицо: в крике разинутый рот, яростные глаза, подбородок, устремленный вперед. Ленг привстал на ноги. Забыв все — день, солнце, — всмотрелся. Нет, это не наваждение. Зажмурил глаза, открыл, лицо было!

Оно было и на холсте. Тот же яростный крик, насупленные брови, морщины на лбу.

Ленг собрал краски, холсты, сложил мольберт и пошел по тропинке — ему было не по себе.

Тропинка поднималась среди ольшаника и грушевых деревьев. Поселок был на пригорке, оттуда на скалы открывался широкий вид. Но пока Ленг не подошел к домам, он не решался остановиться и оглянуться. А когда оглянулся, лицо было там же, в скалах, свирепое, с крупным носом.

Почему Ленг не разглядел его раньше? Смотрел не задумываясь. Отвел глаза, выкинул из головы мысль о лице. Посмотрел успокоенными глазами. Скопление пятен, трещин, кое-где прилепившийся к скалам кустарник... Нужно воображение, решил Ленг, сочетание света, красок. Нужен профессиональный взгляд.

Тотчас он увидел второе лицо — тупое, клыкастое, с мощной челюстью и упрямым лбом. Оно было расположено ниже, чем первое, и обращено в другую сторону — вниз по реке. Дальше, у входа в долину, Ленг рассмотрел еще три лица: строгое лицо воина с правильными чертами и прилепившиеся сбоку к нему два других лица, искаженных, напозавших одно на другое. У них было три глаза: один глаз относился к обоим лицам...

Ленг отнес холсты и мольберт в дом, в котором квартировал, и пошел берегом реки вниз. К полудню на скалах он насчитал девять человеческих лиц...

Вернувшись, Ленг стал ожидать Стешу.

Когда с машины он сошел на развилке, шофер показал ему дорогу в поселок:

— Найдешь Бурцевых, попросишься на квартиру.

Ленг остался наедине с рекой и горами. Река шумела и пенилась, грызла камни. В одних успела прогрызть ходы и норы, другие отшлифовала до блеска. Вырыла котлован — глубина отдавала зеленью... По течению выше река выбивалась из гор, еще выше поднимались вершины, а еще в отдалении, вовсе неизмеримом, блестели вечные льды Кавказа. «Здесь я напишу свой первый этюд!» — загорелся Ленг.

Подхватил багаж, пошел по дороге. Река текла рядом, шумела, не хотела с ним расставаться. Наконец дорога подалась вверх, вывела на поляну. Здесь была улица в пять домов, магазин. У первого домика Ленг постучал в калитку.

— Где живут Бурцевы? — спросил старуху, вышедшую из дома.

— Тут, — ответила старуха, подошла ближе к калитке.

— Можно у вас остановиться? Я художник, — сказал Ленг.

— На квартиру, што ль?

— На квартиру.

— Я не хозяйка, — сказала старуха. — Хозяйка Стешка, дочка моя.

Калитку, однако, открыла, отщелкнув крючок:

— Надолго?..

Со старухой — звали ее Ивановной — Ленг столковался: впустила в дом, показала комнату.

— Какая там плата! — замахала руками. — Стефанида приедя, с ней договаривайся.

«Стефанида...» — подумал Ленг.

— Болею, — жаловалась старуха. — Стешка меня доглядая, обеспечивая...

«Редкое имя — Стеша...» — опять подумал Ленг.

Стеша приехала через два дня.

— Здравствуйте! — подала Ленгу руку. Была она высокая, тонкая, с карими живыми глазами, гибкая, сильная.

Тут же она выдворила Ленга из дома:

— Не меньше, чем на полдня. Пока выбелю, высушу комнату.

Ленг забрал краски, мольберт и вышел.

Когда вернулся, все в комнате было неузнаваемо. И Стеша была неузнаваемой. В белой блузке, оттенявшей смуглость лица и рук, она помолодела, белизна блузки и комнаты еще больше подчеркнула ее румянец.

— Живите! — сказала Ленгу.

Остаток субботы и воскресенье Ленг не работал. Ходили со Стешей по берегу, взбирались на скалы. Сидели, опустив ноги: жутко — не гляди вниз!..

— Все эти места были турецкими, — рассказывала Стеша. — Дорога тоже турецкая. Военная. Ведет к перевалам и дальше — к морю. Через Черную речку — турецкий мост. Напротив поляна — видите? Называется Батарейка.

Со скалы виднелась часть территории заповедника, Черная речка, мост и напротив поляна.

— Там стояли русские батареи, держали под обстрелом мост и дорогу. Мой прадед воевал здесь. Не верите? — Стеша перехватила взгляд Ленга. — Спросите у матери... Дорога еще называлась царской. В каретах, со свитой цари наезжали в угоды охотиться на кавказскую дичь. Позже образовался здесь заповедник.

Стеша говорит без умолку. Любит свои края, обо всем хочет рассказать Ленгу.

— Машина! — По дороге пылила машина. — Возит егерям продукты и снаряжение. Вы с ней приехали?

Через минуту спрашивает:



— Как мама? Казачка, правда? «Доглядая, обеспечивая...» — произносит она голосом, очень похожим на материнский. — Казачий выговор. Так говорят белореченские и губские казаки...

Прижимистая старуха, — продолжает рассказывать. — «Ты с ево, с художника, — опять материнским голосом, — за месяц рублей тридцать возьми...» Закваска такая. Земли, — показывает рукой, — отобрали у турок, передали казакам.

Стеша работает на мебельной фабрике, километрах в тридцати вниз по реке.

— Езжу сюда и езжу, — продолжает рассказывать. — Мать соблюдаю. Оттого и замуж не вышла, — смеется. — Не идут в примачи к казачкам!

Завтра опять суббота, приедет Стеша.

Ленг берет набросок, сделанный утром. Не заметил лица, пока не нарисовал его... Вот оно! Подходит к окну.

Можно ли рассмотреть в скалах лицо? Художник пристально вглядывается. Случайное расположение пятен — глаза. Щель, вымытая дождем, — рот. Остальное дополнит воображение.

А если лиц девять?..

— Ивановна! — зовет Ленг.

Тяжело ступая, в комнату входит Ивановна.

— Посмотрите на горы.

— Чего глядеть? — Старуха подходит к окну.

— Посмотрите внимательнее.

— Делать тебе нечего, вот что. — Старуха не одобряет работы Ленга: шуточки. Удивляется: как это люди шутя зарабатывают деньги?

— Вглядитесь, — говорит Ленг, — вон туда, выше леса.

— И што? — недоумевает Ивановна.

— Не видите?..

— Булгачишь старую понапрасну... — Уходит кормить цыплят.

На полотно она не взглянула.

Ленг присаживается к холсту, берет кисть.

Что надо сделать? Оживить портрет. Человека, лицо которого в скалах. Девять лиц, которые в скалах...

Ленг растирает краски, но мысль его о другом. Что за люди? Как появились отображения их на камне? Где-то художник читал, что все на Земле, существующее и бывшее, оставляет след. Электронный отпечаток как на экране. Может, это фантастика? Может, и не фантастика. Отображение падает на сетчатку глаза, остается в мозгу. Может, и в природе при каких-то условиях отражение остается на скалах, на ледниках. Бывают миражи, бывают отражения на облаках и туманах. Вдруг это каким-то образом закрепляется?

Приготовив кисти, краски, Ленг склоняется над портретом. Заставить рассказать о себе, руки художника подрагивают от нетерпения. Заставлю!.. Ленгу знакомо это состояние решимости, уверенности в себе. Знаком холодок в груди, когда ставишь задачу и хочешь и способен решить ее.

Он работает до темноты. И на следующий день он уже за работой в пять часов.

Встает, ходит по комнате, не отрывая глаз от портрета. Бормочет вполголоса:

— О чем ты кричишь? Что видишь?

Опять берется за кисть.

— Грозен ты, — иногда скажет портрету. — А ну, больше блеска в глазах!..

— Завтракать, — зовет Ивановна.

— Потом.

— Заморисся! — Ивановна жалеет его.

— Потом!

Приезжает Стеша. Ленг не замечает ее приезда. Не замечает, как она входит в комнату, не поднимает глаз от работы.

— Кто это? — спрашивает она, останавливаясь у него за спиной.

— Стеша... — Ему кажется, что вот сейчас, сейчас он схватит главное выражение в лице, во взгляде.

Кисть мечется по полотну.

— Кто? — спрашивает вторично Стеша.

Ленг пишет не отрываясь.

— Какой ужас!.. — говорит Стеша.

На холсте лицо полководца. Свирепое, искаженное в крике, может, в час поражения, может, в предсмертный миг. Оно пышет гневом и страхом. Полководец кричит. Его взгляд зовет, понукает, проклинает. И это страшно. Стеша уже не спрашивает. Стоит молча.

Подошла Ивановна. Заглянула Ленгу через плечо. Отшатнулась:

— Бусурман...

Перекрестилась.

А Ленг смеется. На него нашла озорная минута. Он видит свою удачу, он в порыве, на гребне. Стеша, Ивановна пусть поломают головы! И это рядом!

— Подойди к окну, — говорит он Стеше.

— Не пойду. Откуда этот ужас?

Ленг перестает смеяться. Ивановна, Стеша не видят? Ленг смотрит на полотно: действительно ужас.

— Пошли завтракать, — говорит Стеше.

Потом они сидят над рекой. Говорить Стеше об увиденном или не говорить, думает Ленг. Может, это только он видит? Может, там ничего нет?

Не сказал бы, наверно, если бы Стеша не потребовала сама:

— То, что вы написали, придумано?

Ленг все еще не решается рассказать ей.

— В жизни нет такого лица! — говорит Стеша.

— А если было?..

— Как было? — не понимает Стеша.

— В прошлом. Во время кавказских войн.

— О чем вы?

— Смотри сюда!

Ленг показывает на скалы. Солнце садится. Неровности гор наводят, сгущают тени. Сумерки ползут из ущелий, лес уже полон ими. Скалы ясны, но и к ним подбирается сумрак, серое делает темным, желтое красным.

— Сюда! — говорит Ленг. — Видишь раскрытый рот, глаза. Ну, пока солнце! Нос, подбородок...

У Стеши бледнеет лицо:

— Это он!

Женщина охватывает руками плечи, будто в ознобе:

— Не дай бог видеть!..

Солнце скрылось, темнеет. Только глаза на лице в скалах еще секунду смотрят — понукают и проклинают.

Ленг и Стеша встают, молча идут по улице. Сумерки стелются им под ноги.

Проходят улицу всю. Останавливаются у клуба. Школы в поселке нет, почты нет, клуб есть. Старый, открывается редко, когда привозят кино, а привозят его в год два раза.

Здесь, на ступеньки клуба, Стеша и Ленг садятся.

— Как он появился на скалах? — спрашивает Стеша.

Ленг рассказывает ей об электронной теории отражения, о миражах.

— Может, и здесь так же. Что-то происходило на берегах реки, отразилось в воде. Отражение упало на скалы солнечным бликом, запечатлелось. Миг, какая-нибудь секунда. Историческая секунда — Кавказ дышит историей. А потом, Стеша, — признается Ленг, — тут не одно лицо. Я насчитал девять.

— Девять?..

Стеша родилась здесь и выросла. Горы для нее, для жителей поселка все равно, что море для рыбака, степи для земледельца. В горы ходят за сеном, за грушами. Пасут скот. Ничего необычного там нет. И лиц никаких нет. Она так и говорит Ленгу.

— Есть же! — восклицает задетый художник.

— Есть... — Стеша ведь сама видела. — Наверно, мы не обращаем на них внимания, — говорит она. — Привыкли, не вглядываемся... Если бы вы не показали, для меня там ничего бы и не было. А теперь я буду бояться. И портрета боюсь.

Звезды уже теплились на небе, и одна, яркая, висела над противоположной стороной долины, над скалами. Ночь затушевала морщины, складки, ничего на камне не было видно, и Стеша, и Ленг глядели на звезду. Она казалась близкой, ласковой. Хотелось смотреть на нее и молчать.

Молчали долго и не тягостно для обоих. Каждый думал о своем, заветном, что не выскажешь вдруг, а может, и вовсе не надо высказывать.

Пролетела ночная птица, за рекой ухал филин. В поселке не было огней — не было электричества. Только звезды ясными живыми глазами глядели на горы вниз. И только эта, большая, улыбалась Ленгу и Стеше.

— Что вы теперь будете делать? — спросила Стеша.

— Напишу портреты. Заставлю их рассказать о себе.

— Как?

— Проникну в душу существовавших когда-то людей.

— Зачем?

— Понять, узнать.

— Разве мы знаем мало?..

Ленг не ответил. Ночь действовала на него успокаивающе. Не хотелось ничего доказывать, спорить. Впереди ждала работа, и Ленг знал, что будет работать.

Заговорила Стеша:

— Не понимаю я современной жизни. Все заняты, все спешат, выдумывают разные сложности, ужасы. Бомб навывдумывали — каются, испугались: я читала про майора, который бросил первую бомбу, сошел с ума... Другие гонятся за степенями, премиями — за чи-стоганом.

Замолкла в раздумье. Ленг тоже думал над сказан-

ным. Мог бы добавить, что в сутолоке люди редко находят друг друга, редко говорят от души и понимают друг друга.

Стеша заговорила опять:

— Что же делать нам, незаметным людям, как жить? И где она, жизнь, обыкновенное счастье? Не машинное, как понимают многие, проносящееся на механических скоростях, человеческое: любовь, например, нежность. В романах, может быть, в песнях? Не верю я песням...

Ленг слушал, примеривал сказанное к себе. Под пятьдесят ему, а нет у него ни семьи, ни дома — бродяжья жизнь.

Женщина перестала говорить, всхлипнула. Секунду стояла тишина, густая и плотная, тишина ночи. Ленг тронул Стешу за плечи, приблизил свое лицо к ее лицу.

— Ничего не поделаешь, — сказал. — Такая она есть, жизнь, немножечко сумасбродная.

Понял, что не убедил Стешу, и замолчал.

У Ивановны обострилась болезнь — астма, и Стеша увезла ее в больницу.

— Ты уж тут как-нибудь, — наказывала старуха Ленгу. — Соседка тебе сготовя, Никитишна, с голоду не помрешь. Дом соблюдай. Замок вешай, когда уходишь.

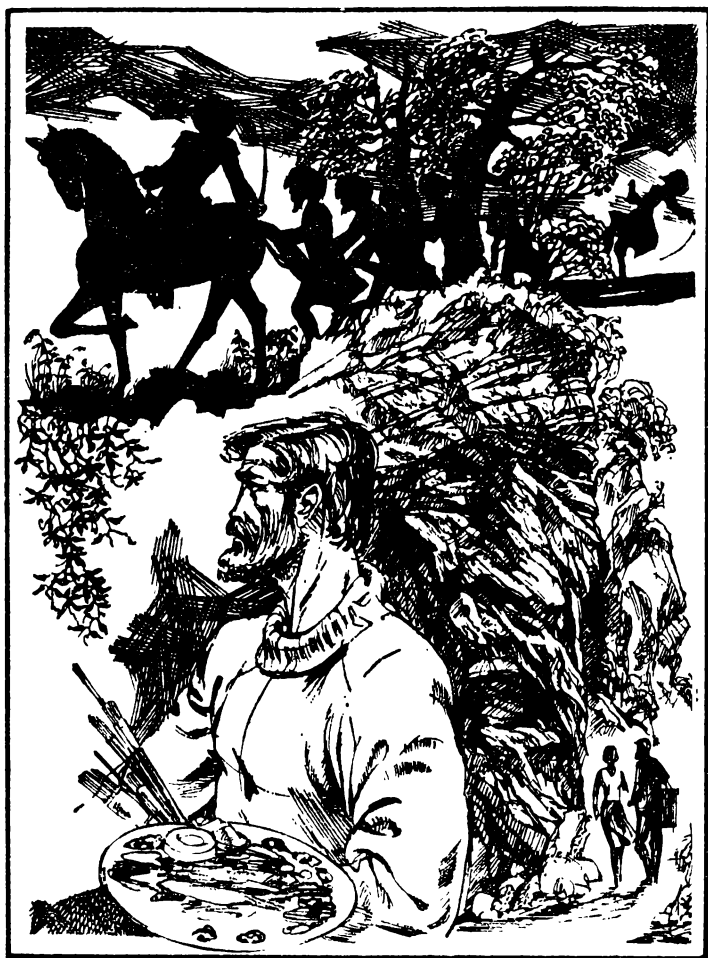
Стеша сказала:

— До следующей субботы.

Ленг проводил взглядом машину, пошел по берегу.

Все девять лиц были срисованы им в блокнот. Но этого мало. Ленг изучал каждую морщинку на камне, старался представить, какие эти люди были живыми, что чувствовали, что видели. Например, воин со строгим лицом или одноглазый с искаженным ртом, от боли, от гнева?.. Переходя с места на место, приглядываясь, художник старался понять, что происходило в долине, и одновременно настроить себя на работу.

Удалось ему и то и другое. Догадаться, что это вой-



ны, было нетрудно — дорога знала немало сражений во время кавказских войн. Удивляет, что лица повернуты в одну сторону — вверх по реке. Войско уходило на юг, отступало. Да, отступало в панике. Ярость и страх на лицах в пользу такого предположения. Другое дело, что думал каждый из воинов, что говорил в этот случайно запечатленный момент. Здесь требовалась от художника интуиция, проникновение в душу каждого воина. Это придет во время работы, когда Ленг будет писать и одновременно читать мысли, которые подскажет ему каждый портрет.

Обратно в поселок Ленг почти бежит, подстегиваемый жадой работы. Скидывает куртку, швыряет с порога, не глядя куда. Устанавливает мольберт, придвигает полотна, краски.

— Начнем!..

Солнце заглядывает в окна, комната полна света.

Ленг набрасывает штрихи на полотно.

Пишет он сотника — так, во всяком случае, он думает — в каждом войске есть средний командный состав. Пусть будет сотник — назовет его Ленг хотя бы в отличие от других воинов. Человек этот страшен: с вытянутым лицом, с дубовой челюстью, ощеренными клыками.

— Жесток, — характеризует его художник, — непримирим!

Придает ему на губах пену, на клыках желтизну. Лицо багрово от гнева, уши торчком.

Больше красного, желтого, черноты под глазами, смерти в зрачках. Беспощаден так же, как к нему будут беспощадны: за поражение он рассчитается головой.

Еще желтизны. Под маской ярости у него страх. От крика он багров, от страха бледен. Все это перемешано, все надо показать, подчеркнуть.

— Слова мне твои нужны. О чем ты?.. — спрашивает Ленг. Пишет, пишет. Не положит кисть, пока сотник не закричит в ярости. Что он может кричать? «Стойте! —



думает Ленг, выписывая складки на щеках, жилы на лбу. — Стойте, собаки!..»

Вечер прерывает работу. Но когда Ленг, отложив кисть, выходит из дому, идет по улице — все это машинально, — лицо сотника перед ним в шрамах, в буграх и в страхе.

На следующее утро он пишет одноглазого — склоненное лицо, кровь на щеках. Человек сломлен, может только стонать.

Так его и пишет художник — в безнадежности, в безразличии.

Дальше лицо строгого воина. Может, единственное, которое не глядит на юг. Воин остановился, смотрит, наверное, на товарищей. Может, увещевает их. Этот может обороняться — опора войска.

Еще и еще лица. Дни в труде от рассвета до вечера — второй день, третий. Не всегда получается у художника и не все. Устает?

Бросает кисть, идет на реку. На турецкий мост. Его пропускают, предупреждая, что далеко заходить нельзя. Он и не пойдет далеко. До речки Черной, до моста. Здесь останавливается, вслушивается. Шумит вода. К этому Ленг привык. Вслушивается в прошлое. Оглядывает Батарейку, поляну. Оттуда бьют пушки по отступающим, бьют по мосту. По живым людям. Невольно Ленг заглядывает под мост. Видит кладку, сделанную на века, — опору. Где люди, которые ее сложили? И где другие, которые бежали по дороге и по мосту? И те, которые расстреливали их картечью? «Какой ужас!» — думает Ленг. Войны — это ужас. От фараонов Джосера, Хеопса до Цезаря, Наполеона, Гитлера — кровь и страдания!

Черная речка катит воды из мрачной теснины. Воды кажутся черными, и камни на дне реки черные. Может, от запекшейся крови?.. Ленг стоит на мосту полчаса, час — пережить все, что здесь когда-то происходило.

— Посмотрели? — спрашивают у него на пропускной.

Ленг молча кивает.

Может, думает он, это Мухаммед-Эмин? Вглядывается в лицо полководца — первое лицо, которое появилось у него на холсте и которое позже они рассматривали со Стешей. Наместник Шамиля, получивший от него имя Амин — Верный. Но он проиграл сражение, войско бежит. Может быть, он проиграл раньше из-за жестокости, корыстолюбия? Горцы отвернулись от него, как уже отвернулись от Шамиля? Кому Амин даст теперь ответ за потерянные войска? Турецкому султану, англичанам, которые обещали помощь в войне? Он еще кричит, Амин, командует, старается удержать власть, властолюбивый старец. Но он ничего не знает. Знает история. Шамиль сдался на милость победителей и прекратил борьбу. Сдастся и он, Амин. И впереди, за хребтами, Кбаада, Красная Поляна, где все будет кончено, последний изможденный воин бросит оружие...

Дома Ленг пишет. Когда наступают сумерки и работать нельзя, думает о Стеше.

Все в ней кавказское — в характере, в облике. Хрупкие, почти детские плечи, руки. В то же время сила и гибкость в движениях. Ветры ее не сломят, чужая рука не скрутит. «Не задалась у нее жизнь, — рассказывает Ивановна. — Замужем была Стешка, и расходилась, и отбивалась от всех ветров. С ее красотой как не отбиваться?..» Не задалась судьба. Так у кого она удалется, думает Ленг, особенно женская?

Всего, однако, не передумаешь. С утра опять работа. Опять работа.

На стенах шесть портретов. Семь. Восемь.

Ленг с кистью ходит от одного к другому. Подправит морщину, оттенит желвак на щеке. Добивается выразительности? Выразительность есть. Живости? Живость тоже есть. Добивается жизни. Требуется от них рассказать, что происходило в долине. Оживляет волей, душой: заговорите!

И портреты заговорили.

В сумерках, когда работать было уже нельзя и Ленг, усталый, сидел на стуле, все еще не отрывая глаз от портретов, он явственно услышал:

— Именем Аллаха! Назад!.. — Это говорил полководец.

— Стой! — поддержал его сотник с дубовой челюстью. — Шакалы!

Они пытались задержать бегущее войско.

— А-а-а-а... — донеслось с другой стены, где был одноклазый и другие, раненные, измученные.

— Именем Аллаха!.. — требовал полководец.

— А-а-а-а... — слышалось в ответ.

Ленг встал со стула, голоса нисколько его не удивили. Он добивался живой речи — добился.

— Назад! Приказываю!

— Шакалы! — угрожал сотник. — Убью!..

— Правоверные! Правоверные! — прибавился новый голос; говорил воин со строгим лицом.

— А-а-а-а... — слышалось в ответ.

Вдали, в ущелье, гремели пушки. Хрустели кости под ногами бегущих: кто упал, тому не подняться.

Пушки били и впереди. «На Батарейке», — подумал Ленг.

— Правоверные! — Воин хотел остановить товарищей.

Лица, лица проносились перед художником. Слепые, полуслепые, с тремя глазами на двоих, измученные. Быть может, это просто было в воображении Ленга? Но он видел лица, видел и понимал, что тут шло сражение. И с обеих сторон людей вело в бой убеждение. И каждый воин исполнял долг, думая, что он прав, хотя и не был правым... Эти земли не принадлежали пришельцам...

Турки, черкесы — все смешалось, бежало в панике. А голоса громче:

— Именем Аллаха!

— Стой!

Лица вплотную. Голоса рядом, в ушах:

— Стой!..

Ленг подходит к окну, захлопывает створки, чтобы не было слышно на улице.

Голоса заполняют комнату:

— А-а-а-а...

— Назад!

Ленг затыкает уши. Пятится из комнаты, прикрывает дверь.

— Назад! Приказываю!..

Дрожащими руками Ленг зажигает лампу, присаживается к столу. Стынет ужин, принесенный Никитичной, Ленг не притрагивается к нему. Голоса не стихают:

— Шакалы! Стой!

— Правоверные...

Час сидит Ленг, второй. Липкий пот заликает ему лицо, шею.

— Именем Аллаха! — приказывает полководец Амин.

— А-а-а!.. — льется в долине.

За полночь Ленг не выдерживает, собирает одежду: фуфайку, куртку и уходит спать в сад.

Звезды горят над ним, шумит река под обрывом. Художник не может заснуть. Поднимается, подходит к дому.

— Шакалы! Собачьи души!..

Ленг возвращается и уже не спит до рассвета.

Утром придет Стеша, думает он. Каждую неделю она ездит к матери. Ивановна горьким горем жалеет дочь: «Пропала девка!» И Стешины слезы вспоминаются Ленгу там, на крылечке клуба, звезда, светившая им обоим. Ленг смотрит на небо, пытаясь найти звезду, — где там, среди тысячи других звезд?

Думает о работе. Опять о Стеше. Зачем ей этот ужас? Вспоминает портреты. Он все еще не осознает, зачем создает полотна... Понимает, что бежал из комнаты, лежит под кустом, прислушиваясь. Боится войти в дом. Мы так

много знаем о войнах, о полководцах, о ложных идеях, которые вели людей в бой. Но были и благородные идеи, освободительные войны. Тишина в поселке. А лица людей, если всматриваться, несут черты чего-то восточного, смешанного с севером... Как хорошо, что это только намеки о прошлом... История в наших генах, значит, в наших телах, в наших мыслях, в нашем воображении.

Когда над горами встало зарево, ночные тени рассеялись, Ленг опять подошел к окну. При свете лица были спокойнее. Мысленно он представил, как сдирает со стен портреты, заталкивает в печь. Чиркает спичкой, второй, подносит пламя к промасленным холстам и глядит, как они вспыхивают разноцветными огнями. Нет, он не сделает этого. Историю нельзя вычеркнуть, какая бы она ни была. Она повсюду — она в полях, которые освоены усилиями сотен поколений, которые сменялись здесь одно за другим. Она в легендах, в преданиях. История учит. Она напоминает о том, что было, и поэтому ее ужасы поучительны.

Плеснув водою в лицо, яростно вытирается Ленг полотенцем и, обновленный, идет на реку встречать Стешу.

## ЭЛА

— Ты видишь город? Это не простой город, в нем живет музыка.

Они спустились с холма. Лес отошел назад, в лесу выжженная поляна, корабль. Города Виктор не видел и раньше. С орбиты планета выглядела зеленой: леса и леса. С поляны, окруженной деревьями, города тоже не было видно.

Он готовил авиэт для полетов, развернул крылья. За работой не заметил, как появилась Эла. Она пересекала поляну. Была она как с детской картинки: тоненькая, руки, ноги — соломинки, голова с кулачок, а глаза — блюдца.

Оказалось, что это издали. Вплотную хрупкость ее была не больше, чем у танцовщицы. Голова и глаза обыкновенные.

— Здравствуй! — сказала она.

— Здравствуй! — ответил Виктор.

— Пить хочешь? — В руках у нее появился листок, похожий на листок водной кувшинки, в углублении поблескивала вода.

— Хочу, — ответил Виктор.

Разговор происходил машинально, во всяком случае, для Виктора: летчик занимал в нем пассивную сторону. То, что разговор необычный, на русском, — в двадцати двух парсеках от Родины, — еще не дошло до сознания. Виктор ответил на вопросы, выпил воду — вода была прохладная, свежая, — и когда в последующую секунду не знал, куда деть листок: бросить на землю или вернуть, — понял наконец, какое чудо эта внезапная встреча.

— Меня зовут Эла, — услышал он.

— Меня Виктор.

— Что ты думаешь делать?

— Пока не решил.

— Пойдем со мной, — предложила Эла.

— Куда?

— В город.

— Может быть, полетим? — спросил Виктор.

— Не надо. Пойдем.

Пошли.

Корабль, авиэт остались на поляне. Виктор не прикрыл их силовым полем, не взял оружие: небо, Эла внушали ему чувство безопасности.

Девушка шла впереди. На редколесье Виктор догнал ее, шагал рядом. Как он мог подумать, что она с детской картинки? Сказал бы, с экрана: артистка. Но и это слово не подходило к спутнице. Балерина?.. Легкость шагов, движений — все это было. Но балерина — совсем не то слово. Земная девушка. И неземная одновременно.

Что-то в ней переменчивое, неуловимое. Румянец — и нет его, ресницы то бросят тень на глаза, то раскроют сиянье глаз. Легкие плечи, легкое платье. На ногах травяные сандалии. В имени — музыка.

И еще: лицо ее постоянно менялось. Будто кто-то лепил его на глазах у Виктора. Больше лепил, чтобы удовлетворить Виктора. Ничего не осталось от того лица, которое Виктор увидел на поляне, когда появилась Эла. Сейчас это другое лицо, другие глаза. На миг у Виктора в душе шевельнулась тревога. Но он тут же отбросил тревогу: кажется. Новый мир, яркие впечатления. Впечатления меняются — вот и все.

Они вышли из леса, оказались на отлоге холма.

Но и отсюда Виктор не различал города в зелени. Или город сам был зеленью: купола — кроны деревьев, башни как кипарисы. Но музыка...

— Слышишь? — Эла остановилась.

Кажется, это был шум. Не птичий гомон. Не полет ветра. И не говор толпы.

— Что это? — спросил Виктор.

— Я же говорила тебе, — ответила Эла, — город.

Они вошли в город.

Ничего подобного Виктор не ожидал встретить. Не было улицы, тротуаров. Не было пешеходов, транспорта. Направо, налево от Виктора, Элы стояли — дома, не дома — островки зелени в виде беседок, остроконечных пагод. Было похоже на подстриженные садовником группы деревьев. Но ни одна ветка не была здесь отрезанной. Ветки прилегали друг к другу, находили одна на другую, образуя живую плотную ткань.

Город, однако, жил. В куполах, беседках, словно в ульях, слышалось биение жизни, и это создавало шум, который удивил Виктора еще при подходе к городу. Все же это были дома, решил Виктор, сделал несколько шагов к одному из них, различил звуки струн, голос.

— Пойдем, — сказала Эла.

Опять они шли, пока не остановились на круглой, как цирковая арена, площади.

— Вот мы и дома, — сказала Эла, села на траву у ног Виктора. Он опустился с ней рядом, сказал:

— Ты говоришь, мы?..

Она спросила:

— Откуда ты прилетел?

— С Земли.

Она подняла глаза, наморщила лоб:

— Отсюда? — Провела рукой в воздухе.

Раздались аккорды чужой незнакомой музыки — сталкивались лавины, гудел и рыдал горный ветер.

— Нет, — ответил Виктор.

Музыка смолкла. Но Эла опять повела рукой, и вновь с неба обрушились волны звуков, будто в самом деле вставал над ними и рушился океанский прибой.

— Нет! — Виктор поднял руку, музыка прекратилась.

— Откуда же? — спросила Эла, морщинка на ее лбу углубилась.

— Как тебе объяснить?.. — Была бы ночь, Виктор показал бы на звезды, попытался отыскать среди них Солнце.

Но Эла опять провела рукой в воздухе.

Хлынули аккорды фортепиано — один, другой. Кажется, было слышно, как ударяют по струнам упругие молоточки. Еще, еще, вступил оркестр, и полнокровно, тревожно поплыли звуки Первого концерта Чайковского. Виктор кивнул: «Да...» Эла улыбнулась глазами. Опять фортепиано — упругие молоточки бились в струнах, спешили, и опять плавно вступил оркестр, поднимая аккорды выше, тревожнее. Билось большое сердце — ожидание, радость рождались в музыке, горение страсти и полет в вышине.

Несколько минут Виктор, Эла слушали музыку, потом Эла плавным движением укротила аккорды, погасила совсем.



— Хорошо... — сказала она, взгляд ее был затуманен.

— Хорошо, — откликнулся Виктор. Он словно вдохнул воздух Земли, получил привет Родины, ее ласку, поддержку. Благодарно взглянул на Элу, хотя и не знал, не понимал, как она воспроизвела музыку без инструментов, оркестра.

Эла сказала:

— Это мы знаем...

Опять мы, но это другое мы. Первое относилось к Виктору, Эле, когда они пришли в город, остановились на площади. Второе относилось к кому-то, кого Виктор до сих пор не видел, но чье присутствие ощущалось в городе. Кто это?

— Расскажи о Земле, — предложила Эла.

— Расскажи о себе, — сказал Виктор.

— Расскажу, — пообещала Эла, — но сначала ты.

У Виктора накопилась куча вопросов, но он был в другом мире, в гостях и подчинялся неписаному, но безусловно принятому правилу — уважать просьбу хозяев.

Он стал рассказывать о Земле — о морях, лесах, о городах и машинах. Это было тоже в какой-то мере традиционно: разведчиков учили, как начинать разговор и как его продолжать. Эла слушала. Но слушала странно — голос, как показалось Виктору, интонацию. Ему пришло в голову, что она не все понимает в его рассказе, может быть, даже не слышит рассказа, просто прислушивается. Он убедился в этом, когда она задала самый элементарный вопрос:

— Что такое машины?

Виктор пояснил, привел, как пример, корабль, авиэт, которые Эла видела. Спросил:

— У вас машин нет?

— Нет, — ответила Эла.

— Что же у вас?..

— Музыка.

С минуту Виктор глядел на нее, не зная, как продолжать разговор, но тут зашевелилась, заявила о себе куча вопросов, которые у него накопились. Виктор спросил:

— А ты кто?

И еще с минуту он ждал, пока Эла ответила:

— Песня.

Солнце коснулось горизонта, повеяло свежестью. Виктор и Эла поднялись, пошли по окраине площади. Не было шуткой, когда Эла ответила Виктору, кто она, и еще ответила на многие его вопросы. Музыка жила в этом мире — невидимая, разумная. Музыка-математика, музыка-цивилизация.

— Город? — говорила Эла. — Это твое понятие. Мы живем обществами, и каждое общество — музыкальный аккорд, симфония.

— Посмотри, — она подошла к одному из домов, — здесь мелодия.

Жестом открыла нишу в зеленой стене. Едва слышное до этого звучание вырвалось на площадь. Звенели струны: мелодия поднималась, набирая высоту, силу, и опускалась в медленном ритме. Литавры, может быть, другие инструменты, похожие на литавры, кончали каждый аккорд. Паузы между концом и началом аккордов были как вздохи. Струны пели, литавры заканчивали аккорд, и это было похоже на успокоенное дыхание после большого, хорошо сделанного труда.

Эла закрыла нишу, и они подошли к другому зданию, порталом выходившему на площадь. И здесь Эла открыла дверь, новая музыка разлилась в воздухе — пели электротромбоны в сопровождении гулко-го барабана, изображая марш или шествие — очень медленное, будто шагали гиганты.

Из соседней беседки Эла извлекла самбу или что-то

очень похожее на нее — огненный ритм. Из высокого купола рядом песню в два голоса: альт и сопрано.

В городе жила музыка, и сам город, на упрощенный взгляд Виктора, был фонотекой, музыкальным хранилищем. Но зачем, для кого?

Расстояния между домами были порой неравными, будто здесь тоже стояли дома, а теперь их нет.

— Здесь были дома? — спросил Виктор.

— Да.

— Где же они?

— Исчезли. Коконь исчезают, — непонятно ответила Эла.

Виктор еще хотел спросить о домах, но промолчал: голова у него шла кругом.

Они обошли площадь, пошли по улице, которой входили в город, но уже в обратном направлении — Виктору надо было на корабль. Сумерки зрели неторопливые, светлые, холмы хорошо были видны, и тропинка — след на траве — была видна. Тропинка довела их до подножия холма.

— Пойдешь со мной? — спросил девушку Виктор.

— Пойду.

В лесу стемнело, и Виктору нелегко было ориентироваться на неизвестной местности, но Эла безошибочно вывела его на поляну, к авиэту и кораблю.

— Машины?.. — В голосе Элы прозвучало то ли недоумение, то ли смешок.

— Машины, — ответил Виктор.

— Зачем?

— Чтобы прилететь сюда. К вам.

— Зачем? — спросила Эла опять.

Виктор взял ее за руку, ввел в кабину подъемника.

Ничто в корабле не вызвало у Элы удивления, любопытства. Это задело Виктора, как смешок возле подъемника. Судя по первому впечатлению и по вопросам Элы, техника была в этом мире новостью. Не интересоваться техникой было нельзя. Однако Эла без

робости прошла коридором в салон-каюту, села в кресло, которое ей предложил Виктор, и не спрашивала его ни о чем, пока он готовил ужин, устанавливал на столе приборы.

Поела она немного и, когда ужин был окончен, преподнесла Виктору, как и при встрече, листок с водой и сама из такого же листка выпила воду.

— Как ты это делаешь? — спросил Виктор, имея в виду листок кувшинки, их было на столе два.

— Мне так хочется, — ответила Эла.

— Откуда ты знаешь слова, мой язык?

— Через твои мысли, они звучат...

Разговаривали они долго, и в разговоре бывало всякое: открытие друг друга, доброжелательность, порой угловатость, непонимание — все было. Но самым поразительным оказалась история невидимого народа, населявшего планету, имя которой в произношении Элы было — Иллира.

— Мы приходим, — рассказывала Эла, — от звона ручьев, шороха трав, листьев, дождя и грома. Мы материализованный звук, если говорить твоими словами.

Виктор слушал странную речь, не перебивая.

— На Иллире эволюция шла другими путями. Звук рождает в воздухе не только колебательные движения, волны, — это слишком элементарное восприятие. Звук рождает поток электронов, тончайшее облачко, которое в процессе эволюции — в нашей атмосфере, имею в виду, — оговорила Эла, — стало живым. Так же, как на Земле атомы и молекулы сложили живой белок. Эволюция создала цивилизацию. Звук можно материализовать в предмет, в живое существо, если хочешь. Но в основе нашей цивилизации гармония, музыка, а в основе музыки — математика.

На секунду Эла умолкла, посмотрела на Виктора:

— Математика сама гармония, музыка. Ты согласен?

— Почему ты одна? — спросил Виктор.

— Я не одна. Нас много.

— Кто они? — спросил Виктор. — Ученые, звездоплаватели?

— Каждый из них — музыка.

— Но ты земная девушка! — воскликнул Виктор. — У тебя тело, глаза, улыбка!

Эла ответила:

— Ты еще ничего не знаешь...

Виктор проводил ее, опустил в подъемнике.

— Пойдешь одна?

— Да.

Ночь стояла темная, звездная. Луны у планеты не было, Млечный Путь лежал над лесом, по горизонту миллиарды и миллиарды звезд. Каких только миров нет среди них...

Виктор не спросил, где живет Эла, куда пошла. Поднялась из-за стола, оборвав рассказ на полужае. Никогда не перестанет удивлять человека вселенная. Никогда не будет ей предела. Двадцать два парсека. Потом сто двадцать два. Потом тысяча... И звезды, звезды... Виктор все еще смотрел на Млечный Путь.

В корабль он не поднялся — душно, устроился в кабине авиета в кресле.

Разбудило его легкое прикосновение к лицу:

— Проснись!

Эла наклонилась над ним.

— Ты? — Виктор коснулся ее волос, плеч. Хотелось, чтобы она наклонилась ближе. Хотелось обнять ее. Виктор не сделал этого: «Ребечество, — подумал он. — Вздор и ребечество...»

— Я уже давно здесь, — сказала Эла.

Виктор прыгнул на траву, зачерпнул полные ладони росы. В лесу сквозь деревья цедился туман, трава была тяжелой от влаги.

— Что будем делать? — спросила Эла.

— Полетим? — Виктор бросил полотенце в кабину, тронул авиэт, отводя его от корабля в сторону.

— Полетим, — согласилась Эла.

Аппарат поднялся. Полетели над лесом, над городом. Еще над городами — вторым, третьим. Опять над лесом, над ровными шелковыми полянами. На одной Виктор заметил стайку животных. Бросил машину вниз:

— Кто это?

— Твилы. Не пугай их.

Животные были похожи на кенгуру, прыгали на задних ногах — передние лапки-соломинки прижаты к бокам. У них были круглые головы с большими глазами в черных больших кругах. Мгновение — все они скрылись в лесу.

— Твилы? Есть и другие? — спросил Виктор.

— Есть. Но далеко.

Внизу шли горы. Промелькнула река. Вдали показалось море, но Эла попросила свернуть к горной цепи, белевшей снегами справа.

— Вы летаете? — спросил Виктор.

— Да, — ответила Эла.

Виктор был занят машиной. Однако отметил короткие, замкнутые ответы Элы. Вчера она была оживленнее. Может быть, его сосредоточенность сказывалась на ней сейчас, Виктор весь отдался полету. Может быть, Эла обдумывала что-то свое. И это естественно, думал Виктор, хотя ему хотелось разговора, вопросов к нему и вопросов к ней. Узнать, например, за морем еще есть страны или та, над которой они летят, единственная.

Словно откликаясь на его мысль, Эла сказала:

— Можешь не спрашивать. Я буду тебе рассказывать молча.

Виктор кивнул.

— Это Галаи, — без слов показала Эла на горную цепь. — Прямо — вершина Бар... — «Наверное, восьмистысячник», — подумал Виктор. — Но ты поверни по этой долине, — продолжала Эла. Виктор повернул аппа-

рат. — По реке, по реке, — попросила Эла. Виктор повел вдоль реки. По берегам высились скалы. Виктор попытался поднять аппарат. — Не надо. — сказала Эла, — так теряется прелесть. — Виктор убавил скорость — лети в теснине. — Смотри, самоцветы! — воскликнула Эла.

Скалы превратились в кристаллы красного, синего цвета.

— Красиво, смотри!

Виктор следил за полетом, лишь краем глаза оглядывал скалы.

— Люблю это место! — Эла подалась к лобовому стеклу. — Еще медленнее!

Виктор повел аппарат на малой скорости.

— Как дробится солнце! Взгляни! — восхищалась Эла.

Солнце играло внутри кристаллов искрами, пламенем.

— Опустимся здесь!

Крохотная поляна на берегу, ущелье. Синие грани. «Как во сне...» — подумал Виктор, опустив аппарат.

Первой прыгнула Эла.

— Поляна Сапфиров, — сказала она, объявила, словно экскурсовод.

Виктор улыбнулся, прыгнул. Оказался с ней рядом.

— Хмуришься? — Эла поняла, что Виктору не по душе ее пояснительные сухие реплики.

— Нет, почему, — возразил Виктор, — здесь хорошо.

Эла опустилась на траву, потянула Виктора за руку:

— Сядь.

Ущелье было сказочно-синим. Лишь в вышине, где солнце трогало грани, они сверкали и плавились. Река шумела. Воздух, насыщенный влагой, был прохладным.

— Поляна Сапфиров, — говорила Эла. — Но ты думаешь о другом.

Виктор думал, что красота поляны холодная, он недолюбливал синий цвет.

— Не смотри на скалы, — сказала Эла. Рукой она перебирала травинки.

Виктор сорвал легкий прутик — захотелось попробовать травинку на вкус.

— Не надо. — Эла отобрала травинку.

— Почему?

— Музыка, — ответила Эла. — Все кругом музыка.

Виктор слышал шум реки и ничего больше.

— Мы еще не говорили о главном, — сказала Эла. — Ты навсегда прилетел к нам?

— Нет, — ответил Виктор.

— А хотел бы остаться?

— Тоже нет, — откровенно признался Виктор.

Эла легла на траву, закинула руки за голову:

— Зачем было лететь?

Вопрос неожиданный. Виктор не был готов к нему. Начал говорить о вечном стремлении людей к новому, к знаниям.

— Не надо, — прервала его Эла.

Виктор смолк.

— А если я тебя попрошу, — сказала она через минуту. — Очень попрошу: останься. Со мной.

Предложение тоже внезапное. Опять Виктор не был готов к нему.

Эла ждала ответа.

— Видишь ли... — Виктор чувствовал, что разговор не ладится, как вчера. — На Земле... — Слова не шли к нему, мысли в голове разбредались.

— Не надо, — в третий раз прервала его Эла.

Поднялась — тонкая как лоза:

— Я покажу тебе водопад.

Пошла по берегу. Виктор за ней.

Метрах в двухстах свернули в боковое ущелье, и картина переменилась. Вместо синих скал встали янтарные — в воздухе, кажется, потеплело.

Виктор раздумывал над только что окончившимся



разговором. «Останься. Со мной». На секунду Виктор подумал: остаться? Даже захотел остаться. Не здесь, в синих скалах. На теплой светлой планете. Оставались же далекие предки Виктора на южных коралловых островах... Девушка шла впереди — плыла: движения ее были как музыка. Это Виктор заметил с момента встречи. Шагнуть, подхватить ее, закружить!.. Но ведь он ничего не знает. О ней. Об этом чужом и сложном мире. Все равно он подхватил бы Элу на руки... Ребячество, тут же осаживал себя Виктор. И в то же время видит, чувствует каждый ее шаг, движение.

— Сюда. — Эла поднялась по тропинке вверх. Через минуту они вышли на солнце, увидели водопад.

В желтых, как золото, скалах он выглядел золотым. Пена у его основания горела расплавом; ниже, в извилах берега, струился металл, словно выпущенный из плавильной печи. Эла шагнула к ручью, прыгнула на противоположный берег. Что-то у нее вышло неловко, она охнула, села на камень.

Виктор тотчас оказался рядом:

— Что с тобой?

Эла пыталась подняться, но не могла опереться на ногу.

— Что? — спрашивал Виктор.

— Нога...

Сквозь прозрачные травяные сандалии Виктор заметил, как краснеет, вспухает щиколотка. Выхих, определил он. Поднял девушку на руки.

— Больно?

— Да...

Виктора не задел на этот раз лаконичный ответ. Он шагнул через ручей обратно, понес девушку по тропинке вниз. Опухоль на щиколотке вздувалась. Выхих, утвердился Виктор в своей догадке.

Шел медленно, прижав Элу к себе, чтобы видеть, куда ставить ногу на скользкой тропинке. Пытаясь

скрыть слезы, может, гримасу боли, Эла спрятала лицо у него на груди.

— Ничего, — ободрял он, — потерпи.

Ей было некуда девать руки, она обвила ими шею Виктора.

— Ничего, — повторял он, — сейчас...

Но слов своих он не слышал, может быть, только думал?.. И тропинки не видел, ноги машинально нащупывали опору. Единственное, что он ощущал, — Элу, прильнувший к нему жаркий комочек. Руки Элы обнимали его, от них было горячо, и Виктор чувствовал, как в нем самом поднимается горячая волна, он сильнее сжимал девушку. «Эла...» В имени ее была музыка, в руках страсть.

— Эла... — Только что он мечтал подхватить ее на руки. И вот она с ним. — Эла!

Дыхание ее стихло, слезы перестали жечь грудь Виктору. Внезапно она подняла лицо. Повернулась к нему.

— Как у вас любят? — Взглянула ему в глаза. — На Земле?

Секунду Виктор не отрывался от ее глаз. Они ждали. Требовали. Виктор сильнее привлек ее, поцеловал в открытые губы, ощущая вместе с жаром дыхания холодок зубов.

Положив ее в кресло в кабине, Виктор попытался вправить вывихнутый сустав. Это ему удалось.

— Виктор!..

Эла крепко смежила веки — то ли не позволила себе плакать, то ли замкнувшись в себе.

— Да? — отозвался Виктор.

— Что это было?..

Виктор ничего не ответил. Она сама знает и чувствует его мысли. Даже слова о любви были бы здесь ненужными. За них говорили объятия, губы Элы. Она

без слов понимала это. Может быть, чувства ее были недоступны Виктору. Но его чувства, он уверен, доступны ей.

Молча Виктор захлопнул дверцу кабины.

— Мы улетим?

Эла открыла глаза, посмотрела на Виктора взглядом, как там, на ручье.

— Улетаем?.. — В вопросе была недосказанная мысль, недосказанное желание.

И это был чужой мир, чужая поляна с синими скалами, девушка, принадлежавшая этому миру. Виктор на ее вопросы не мог ответить. «Разве что увезти ее с собой на Землю?..» — мелькнула мысль.

Поднял авиэт в воздух.

Четыре дня Эла с перебинтованной ногой лежала в каюте у Виктора.

За это время Виктор узнал многое о ней и о планете.

Город у подножия холмов вовсе не город. Это питомник, в ячейках которого вызревает музыка — сгустки энергии, которые являются обитателями планеты. Ячейками необязательно бывают кусты и деревья. Ими могут быть твилы.

— Но ты! — воскликнул Виктор. — Ты же земная девушка!

— Для тебя, — ответила Эла. — Ты меня создал своим воображением.

— Я?

— Когда я подходила к тебе первый раз — помнишь? — разве я была такой, как сейчас?

Виктор, вспоминая, задумался.

— Я могла быть веткой, твилом, — продолжала девушка. — Но ты меня не заметил бы.

Верить или не верить?

— Такая я более понятна для тебя. — Эла приблизила обе руки к себе.

И продолжала рассказывать о планете.

Невидимый народ живет.

Невидимый народ живет невидимой, неосязаемой на первый взгляд жизнью. Живет, любит, рождается, умирает.

— Когда две песни находят друг друга и сливаются в одно, тогда рождается от них третье — избыток их звуковой энергии, силы — назови, как хочешь, — рассказывала Эла. — Это дитя. Его помещают в ячейку, и оно начинает развиваться, жить.

— Потом?

— Ячейка исчезает, песня живет самостоятельно.

Последнюю фразу Виктор пропускает мимо ушей: пусть исчезает. Его интересует другое:

— Жизнь, тем более разумная, — говорит он, — должна производить что-то материальное, культуру.

— Музыка, — возражает Эла, — разве это не культура? Нам доступны все мелодии, все песни вселенной, математические законы гармонии. Зачем непременно производить? — отвечает она на вопрос Виктора. — Мало нам воды, воздуха, всей планеты?..

Наша жизнь, — продолжает рассказывать Эла, — беззвучна для тебя. Я могу заставить ее звучать. Хочешь, поговорю с родителями?

— Здесь, сейчас?..

Эла делает жест, и в каюте возникают два голоса: фагот и скрипка.

Эла минуту слушает, потом прерывает музыку.

— О чем ты говорила с ними? — спрашивает Виктор.

— О солнце, о ветре. Хочу туда. — Эла кивает на голубой день за иллюминатором.

— Тебе надо лежать.

— Вынеси меня, — просит Эла.

Виктор несет ее к входной двери корабля.

— Сядем здесь, — говорит Эла. — Нет, нет, поддержи меня на руках.

— Я тебя увезу с собой, — говорит Виктор. После

разговора в синем ущелье Виктор все чаще думает об этом — увезти Элу с собой.

— Ты еще ничего не знаешь, — возражает Эла.

— Чего не знаю?..

— Я должна пройти Ночь Посвящения.

— Что это значит?

— Поцелуй меня.

— Песня моя! — говорит Виктор.

Но он никогда не слышал, чтобы она пела.

Проходили дни. Эла выздоровела. Они летали с Виктором далеко, любовались планетой.

Но внимание Виктора было обращено на девушку. В ней происходили тревожные перемены. Она бледнела, худела, на чистом лбу появились морщинки.

— Ничего, — отвечала она на вопросительные взгляды Виктора. — Так должно быть.

Эти слова он слышал в полете, в корабле, в лесу, как сейчас, когда они на поляне идут вдвоем. И каждый раз все настойчивее он отвечал на них предложением:

— Улетим вместе.

Эла отмалчивалась.

— Улетим!

Они остановились на той же тропинке в город. Виктор глядел в ее бездонные, неуловимо меняющиеся глаза, в зрачки.

— Улетим!.. — твердил как завороченный.

— Почему ты так говоришь? — Эла слегка отстранилась от Виктора. — Ты обо мне ничего не знаешь.

Виктор готов был возражать, настаивать на своем. Закружить ее, унести в небо.

— Хочешь, — сказала Эла, — я сделаю тебя музыкой?

Шутка. Виктор улыбался в ответ.

— Дай руки, — сказала Эла.

Виктор протянул руки. Эла повернула их ладонями вверх.

— Пять пальцев на одной руке, пять на другой. Это гармония? — спросила она.

— Гармония, — согласился Виктор.

— Пальцы — пять тонов гаммы. Ладонь — аккорд. — Эла подняла взгляд выше. — Плечи, глаза — все это будет звучать.

Конечно, шутка! Виктор безоблачно улыбался.

Эла отпустила его, сорвала с куста ветку:

— Слушай!

Ветка стала съеживаться, исчезать. Она не горела, не тлела, как в огне, становилась невидимой. В то же время она звучала.

Исчезла. Слабый, но вполне явственный аккорд постоял в воздухе и тоже исчез.

Все это было похоже на бред.

— Дай руки! — сказала Эла.

— Нет... — Виктор перестал улыбаться. Исчезнувшая ветка воочию стояла перед глазами.

— Она не исчезла, — как всегда, угадала его мысли Эла. — Она будет жить вечно, как музыка. И ты будешь жить.

— Нет, — повторил Виктор, — лучше ты улетишь со мной.

Эла засмеялась:

— Люби меня!

Объятия ее становились все горячее, жаднее...

Наконец Виктор наметил дату отлета — через месяц.

— Повремени, — попросила Эла.

Виктор прибавил неделю.

— Еще...

— Эла!

— Мне нужно.

— Для чего?

— Все равно не поймешь.

Они лежали под звездами. Где-то далеко слышалось пение. Голос, сильный и звучный, один выводил стран-

ную и сложную мелодию. Она то поднималась, то опускалась до нижней октавы, переходила в шепот, и нельзя было понять, радостная эта песня или печальная, потому что было в ней то и другое.

— Кто это поет? — спросил Виктор.

— У нее Ночь Посвящения... — ответила Эла.

— Ты уже говорила эти слова, — напомнил Виктор.

— У каждого своя Ночь Посвящения.

— Ты отвечаешь загадками, Эла.

Девушка вздохнула в ответ.

— Печалишься? — спросил Виктор.

Эле стало заметно хуже. Выпятились лопатки, ключицы под платьем, впали и побледнели щеки. Только голос стал звонче, сильнее да удивительные глаза ярче.

— Так надо... — успокаивала она Виктора.

А тот готовил корабль в путь. Проверил моторы, горючее, ввел авиэт в отсек.

В минуту ласк увлекал Элу рассказами о Земле. О цветах. Больше всего Эле хотелось потрогать цветы — на Иллире не было цветущих растений.

— Все цветы Земли я подарю тебе, — пообещал Виктор.

Четыре дня осталось до отбытия корабля. Теперь они ходили пешком. Через ручьи, овраги Виктор переносил ее на руках: Эла была как перышко.

Все чаще она вызывала родителей — фагот и скрипка тревожно пели возле нее.

— Плохие вести? — спрашивал Виктор.

— Нет, — уверяла Эла.

— Нам будет легче, когда улетим, — говорил он.

Однажды они ушли далеко. Ночь застала их на половине пути к кораблю. Они едва добрались до города.

— Сядем. — Эла опустилась на траву на круглой площади.

— Но уже недалеко, — возражал Виктор.

— Останемся, — попросила Эла. — Я хочу.

Виктор сел рядом. Ночь была тихая, душная. В башнях, в минаретах не слышалось музыки. «Как перед грозой», — подумал Виктор.

— Положи мне голову на колени, — сказала Эла. Виктор склонился к ней.

— Ляг, — сказала она, — закрой глаза.

Она перебирала его волосы, гладила по лицу:

— Усни...

Ее руки были как у ребенка, ее ласка как успокаивающая ласка матери.

— Спи.

Прикосновение рук убаюкивало. Виктор впал в забытие.

Вдруг он услышал пение. Оно было близко-близко и далеко — как бывает во сне, было рядом и в нем самом.

Усни, любимый...

По тембру Виктор узнал, что поет Эла. Удивился, хотел подняться. Но теплота в теле, истома не дали ему пробуждения.

Усни, любимый...

Мы улетим с тобой к звездам.

Будем жить, создавать музыку,

И лучи звезд будут нам струнами.

Сквозь сон Виктор чувствовал, как что-то меняется близ него, исчезает; голова его клонится ниже, коснулась травы.

Но голос Элы звучал:

Усни.

Я твоя любовь, твоя песня.

Нет ничего лучше, как быть вдвоем:



Пусть сплетаются руки, сливаются губы,  
Мы вместе, мы любовь.  
Мы полет.  
Мы вечность.

В то же время Виктор чувствовал, как от него уходит тепло, а вокруг образуется пустота.

Спи, любимый.  
Мы улетим с тобой к звездам...

Очнулся он внезапно. От тишины. Он лежал на траве. Элы рядом не было.

— Эла! — позвал он.

Никто не откликнулся.

— Эла!.. — Виктор вскочил на ноги. — Эла!

Тишина. Вдали шла гроза, но так далеко, что грома не было слышно. Сверкали зарницы.

— Эла!..

Площадь была пуста. Темные здания молчали.

— Где ты, Эла?

Молчание.

— Эла-а!..

Виктор метнулся в одну сторону, в другую, обежал площадь по кругу. Нигде никого.

— Эла, откликнись! — кричал он.

Побежал вдоль по улице. Вернулся на площадь.

— Эла! — забарабанил руками в стену ближайшего дома. Упругая стена не ответила.

Виктор бросался от одного здания к другому, стучал, умолял:

— Верните!

Опять побежал по улице.

— Верните!..

Было тихо и глухо. Начинался рассвет.

На площади, там, где они сидели с Элой в начале ночи, Виктор нашел травяные сандалии и понял все.

Это была Ночь Посвящения. Девушка превратилась в песню:

Будем жить, создавать музыку,  
И лучи звезд будут нам струнами...

Разве могло быть по-другому в этом странном и чужом мире? Эла — она была кокон, как эти непонятные башни. Теперь она стала собой — песней. Разве могло быть иначе?

Разум, однако, не хотел мириться с этой простой очевидной истиной. Виктор все еще звал:

— Эла...

Сандалии он не взял. Зачем? Еще раз обошел площадь, прошел по улице. Остановился в конце. Попрощался с городом.

Поднялся на холмы и еще раз оглянулся на город. Непростой город, в нем жила музыка.

Поднялся на корабль, заdraил за собой дверь.

Поставил ракету на вертикаль. Положил руки на рычаги управления.

— Я твоя любовь, твоя песня... — услышал он.

— Ты здесь? — спросил он, задерживая руки на рычагах.

— Здесь. И останусь здесь.

— Эла...

— Да, любимый. Иначе нельзя.

Второй раз в это утро Виктор понял: иначе нельзя.

— Прощай, — сказал он.

— Прощай, — ответила Песня.

— Сколько ты будешь со мной? — спросил Виктор.

— Всегда. Я песня, я музыка твоей души, ты унесешь меня с собой.

Виктор запустил моторы и еще раз сказал:

— Летим.

— Мы любовь. Мы полет — вечность...

Корабль оторвался от почвы и пошел ввысь.

## А ВДРУГ...

— Открытие века? Если хочешь, то — да.

— Как тебе пришло это в голову?

— Удивляешься?..

Удивляться было чему. Перед глазами Абыкова стояли, никак не могли погаснуть картины дальних миров: оранжевый уступал место фиолетовому, приходила зелень еще какой-то планеты, ослепительно белые ступени лестницы, идущие вверх, вверх, и вдруг — лицо, кажется, состоящее из одних глаз. Еще лица — тонкие, одухотворенные и такие, которые нельзя назвать лицами в человеческом понимании, но, несомненно, лица разумных существ. Города — висячие, плавающие, летающие, кольцообразные, дискообразные, подводные, подземные, хрустальные, жемчужные... — все заснято по межгалактической связи.

Абыков не дыша просмотрел ленту записи в зале исследовательского института, а сейчас Николай везет его на приемную станцию в море.

— Что там будет?..

Николай пожимает плечами:

— Всякое. Однажды на экране блеснули звезды Кремля...

— Телехроника?

— Может, да, а может, нет.

— Что ты хочешь сказать?

— Ничего. Будь я суеверен, сказал бы, что есть вещи, недоступные пониманию.

— Кремлевские звезды?..

— Прием для галактики, от которой свет прилетает к нам за сто семьдесят миллионов лет. Этой галактики даже нет в том месте, откуда идет прием, она отодвинулась к Цефею, может быть, ниже. Мы видим то, чему были современниками динозавры...

— А кремлевские звезды?..

— Меня это поражает не меньше. Поговорим о другом.

Катер упруго резал волну, ветер свистел в ушах: были штиль, и морская гладь, и берег, лиловой полоской уходящий за горизонт. Не было только спокойствия в душе у Абыкова — все перемешано, взорвано.

Надо же было встретиться с другом детства Николаем Егориным — теперь он главинж научно-исследовательского института радиоастрономии. «Старик! — тиснул Николай руку. — Ты чего здесь?» — «Отдыхаю...» — «В Кобулет, в Батуми?» — «В Кобулет». — «Ну я тебе задам отдыху!..» Потянул в институт, посмотрели ленту приема, лаборатории. «Что скажешь?» — спрашивал Николай. На лице его так и написано: жаль, что ты не физик, — Абыков директор одного из волжских совхозов. Что скажешь? А что сказать?.. Только и можно — спрашивать.

— Как пришла тебе в голову эта мысль?

Николай швырнул папиросу за борт:

— Я бы назвал это законом обратности, — сказал он. — Часто мы ищем открытие в противоположном от него направлении: разгадку происхождения Земли — в космосе, а она у нас под ногами. Гелий, наоборот, искали на Земле, а нашли на Солнце.

— На Солнце... — согласился Абыков.

— Так и с межзвездной связью: шарим по всему космосу, а она, матушка, на Земле!

— А все-таки?

— Дело в красном смещении, слышал? Свет далеких галактик, проходя гигантские расстояния, «устает» — световые волны растягиваются, отодвигаются к красному концу спектра. То же относится и к радиоволнам, они удлиняются, становятся инфраволнами. Простой антенной их не возьмешь, в крайнем случае схватишь обрывки — то, что в приемниках называется техническим шумом. Чтобы ловить инфраволны, нужны антенны в пятьсот, в тысячу километров длиной. Ис-

кусственно их не сделаешь. А естественных антенн сколько угодно: береговая линия, материки, даже планета в целом. Представляешь, что можно приять на такую антенну?.. И принимаем. Даже передаем. — Николай наклонился к уху Абыкова: — Пытаемся вступить в контакт...

Абыков хотел спросить, получается ли что-нибудь, но не посмел.

— Только размеры нашей антенны скромнее, — продолжал Николай. — Побережье от Сочи до Трабзона... Главная трудность — отыскать фокусное расстояние и преобразовать растянутые до бесконечности волны. Расстояние мы нашли, а преобразованием занимается Миша Углов, инициативный, хороший парень...

Прямо по курсу из моря поднималась металлическая игла. Потом всплыло яйцо — сфера, выкрашенная в чисто-белый, как яичная скорлупа, цвет. Яйцо поднималось, росло, будто кто выталкивал его снизу. Моторист не сбавлял обороты, казалось, что катер врежется в яйцо, как торпеда.

— Станция уходит под воду на сорок метров, — сказал Николай. — Для устойчивости. Машинное отделение, аппаратная — под водой, экранный зал наверху. Обслуживают все два человека: Миша и Арсентий Иванович Рут.

Верхняя часть яйца, увидел Абыков, обнесена барьером из металлической вязи, обрамлявшим круговую площадку — что-то вроде капитанского мостика. На площадке в халате, развевавшемся точно парус, бегал человек и, жестикулируя, кричал что-то.

— Миша, — пояснил Николай. — Да на нем лица нет!..

Моторист положил лево руля, и катер, вычертив крутую дугу, ткнулся в пробковый борт станции.

— Арсентий Иванович!.. — донеслось с мостика.

Мотор опять заработал, подгоняя катер к причалу; что крикнул Миша об Арсентии Ивановиче, внизу не

расслышали. Наконец катер стал, Миша оказался над головой, так что сквозь металлическую решетку были видны подошвы его туфель да голова, свесившаяся через барьер.

— Что Арсентий Иванович? — крикнул ему Николай.

— Без сознания! — донеслось сверху. — Вот уже два часа!..

Николай поймал трап и, кивнув Абыкову, полез на мостик.

— Опять ЧП... — пробормотал он.

— Ничего не могу поделаться! — жестикулировал Миша, невысокий крепыш, которому, казалось, самая мысль о панике противопоказана. — Постучался к нему — не отвечает, я вошел, а он без сознания.

— Подожди! — прервал его Николай. — Почему без сознания, где он? И почему ты кричишь как девчонка?

Арсентий Иванович оказался внизу. Миша перетащил его на кушетку — буквально перетащил, потому что Арсентий Иванович был на редкость грузный мужчина. На виске у него кровоподтек. Николай взялся за пульс.

Абыков и Миша помогали ему.

— Воду! — командовал Николай. — Спирт!..

Миша тем временем рассказывал подробности катастрофы:

— Работу мы начали в четырнадцать ноль-ноль, как всегда. Арсентий Иванович чувствовал себя, на мой взгляд, нормально. «Режим поддерживай прежний, — сказал он мне, — волну я поймаю сам». Какую он выбрал волну, не знаю, Арсентий Иванович не любит, когда стоят у него за спиной, не раз отсылал меня прочь... По приборам все было хорошо, но я зашел к нему спросить, нет ли помех, — когда по бухте снуют корабли, бывают помехи... Арсентий Иванович садился в кресло, и, не оборачиваясь ко мне, ответил: «Все в порядке». Я закрыл дверь и ушел...

— Короче, — сказал Николай.

— А потом услышал, как что-то упало тяжелое.

— Где?

— В экранной, у Арсентия Ивановича. Вошел — он лежит без сознания.

Дружному натиску трех мужчин, в котором немалую роль сыграло искусственное дыхание, энергично сделанное Абыковым, Арсентий Иванович наконец поддался.

— Антимир... — вздохнул он, приподнявшись на локте. — Провалиться на месте, если это не антимир!.. Дайте листок бумаги!

Когда листок был заполнен цифрами, Арсентий Иванович на минуту задумался.

— Не может быть! — сказал он, ни к кому, по сути, не обращаясь. И тут же спросил самого себя: — Тогда что же это такое?..

Николай и Миша не мешали ему высчитывать на листке и задавать самому себе вопросы, — наверно, такие вещи были им не в диковину. Абыков, признаться, ничего здесь не понимал.

Когда же Арсентий Иванович еще раз пробормотал что-то об антимире, Николай потребовал:

— По порядку!.. — Он умел одним словом ставить людей на рельсы. — Арсентий Иванович мгновенно переключился на тему.

— Антимир, ты же знаешь, занимает меня больше всего. Кремлевские звезды, теплоход «Украина», — отрицаешь, но на борту была надпись, даю руку на отсечение, — все это звенья. А то, что увидел я нынче, — прямое свидетельство существования антимира!.. Но если антимир существует в галактике, от которой свет идет сто семьдесят миллионов лет, то как я мог существовать в антимире в то время?.. Если же антимир ближе, — вот расчеты и цифры, — то как же он до сих пор не обнаружен?.. Или связь с ним осуществляется

вне времени и пространства? Тогда все и всяческие законы летят к чертям! Факт...

— Какой факт? — лопнуло у Николая терпение. — Когда ты доберешься до главного?

— А такой факт, милостивые государи, — обратился ко всем Арсентий Иванович. — На экране я увидел наш верхний зал и — не глядите на меня так! — собственной персоной себя! Этот второй я отошел от окна, приблизился к креслу, сел в кресло и взглянул мне прямо в глаза. Это не было призраком. С экрана смотрел подлинный я! Видите эту родинку? — Арсентий Иванович показал Абыкову родинку над своим правым глазом. — У человека, который глядел на меня, родинка была точно такая! Потом он шевельнул губами, — как я, когда говорю: «Порядок!» или ругаюсь: «Черт...» — снимая паутину с экрана, и протянул мне руку. И я... знаете, я испугался. Упал в обморок... Этот желвак, — Арсентий Иванович ощупал кровоподтек на виске, — я набил, когда падал. Но самое последнее, что я помню, — двойник с экрана улыбался мне как ни в чем не бывало!..

В зале повисла полная тишина. Сквозь скорлупу было слышно, как о яйцо плещут волны, побрякивает железками моторист, что-то ремонтируя в двигателе. Три человека, слушавшие Арсентия Ивановича, лишились речи, рассказчик — тоже. Только моторист все стучал и стучал железками.

— Ты, брат, не врешь? — спросил наконец Николай.

— Нет... — выдохнул Арсентий Иванович.

Только Миша смущенно топтался на месте. Это он передал в космос любительский фильм о том, как Арсентий Иванович начинает в экранном зале рабочий день. Может быть, Миша признался бы сразу, — всякая шутка имеет границы, — но он не без основания опасался, что грузный Арсентий Иванович за желвак на виске сотрет его в порошок.



## СОДЕРЖАНИЕ

Сезам, откройся! . . . . .	5
Экзамен по космографии . . . . .	24
О чем говорят тюльпаны . . . . .	42
Источник Не-пей-вода . . . . .	55
Необыкновенный дар . . . . .	69
Чайки с берегов Тихого океана . . . . .	93
Сны над Байкалом . . . . .	104
Хромосомы судьбы . . . . .	117
Дробинка . . . . .	140
Железный солдат . . . . .	165
Открытие . . . . .	184
Лица . . . . .	195
Эла . . . . .	211
А вдруг... . . . .	233

**Грешнов М. Н.**

Г 81 Сны над Байкалом: Научн.-фантаст. рассказы. — М.: Мол. гвардия, 1983. — 239 с., ил. — (Б-ка сов. фантастики).

75 коп. 100 000 экз.

Книга научно-фантастических рассказов советского писателя.

Г 4702010200—176  
078(02)—83 143—83

**ББК 84 Р7  
Р2**

ИБ № 3349

**Михаил Николаевич Грешнов  
СНЫ НАД БАЙКАЛОМ**

Редактор В. Фалеев

Художник Н. Лавецкий

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор Р. Сиголаева

Корректоры Г. Трибунская, Е. Сахарова

Сдано в набор 14.10.82. Подписано в печать 13.07.83. А00153. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 10,5. Учетно-изд. л. 11,0. Тираж 100 000 экз. Цена 75 коп. Заказ 1831.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сушцевская, 21.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ



МИХАИЛ ГРЕШНОВ СНЫ НАД БАЙКАЛОМ